

Д.Н. МАМИН  
СИБИРЯК

# Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

## Доброе старое время (Уральские рассказы)

Впервые напечатана в журнале «Русская мысль», 1889, № 2. Написана осенью 1888 года На первом листе рукописи (Свердловский областной архив) надпись-автограф: «1888 г., октябрь, Ектрбург». При жизни писателя перепечатывалась в IV томе «Уральских рассказов», М., 1902.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», т. IV, М., издание Д. П. Ефимова (1902).

В основу повести «Доброе старое время» лег очерк Мамина-Сибиряка «Город Екатеринбург», в котором автор рассказал историю возникновения екатеринбургского театра. Театр в Екатеринбурге был построен на средства золотопромышленников Рязановых по инициативе главного горного начальника генерала В. А. Глинки (см. о нем в примечаниях к повести «Верный раб»): «генерал пожелал, и театр был выстроен... Первым антрепренером, — пишет Мамин-Сибиряк, — был Соколов, который привез в Екатеринбург оригинально составленную труппу — лучшие силы были крепостные... Соколов, кочевавший по средней России, ухитрился на каких-то особых условиях законтрактовать в имении Тургеневых (Спасское-Лутовиново) че-

ловек пять девочек-подростков, обученных в домашней театральной школе... С актрисами-девочками была отправлена особая нянька, которая тоже входила в состав труппы. Приобретение Соколова оказалось вообще очень удачным, и ученицы крепостной театральной школы оказались прекрасными актрисами... Сейчас еще жива первая примадонна этой первой труппы — А. И. Иванова, от которой мы и получили эти сведения» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений. Свердловск, 1951, т. 12, стр. 273).

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0017
III.....	.0030
IV.....	.0044
V.....	.0058
VI.....	.0068
VIII.....	.0086
IX.....	.0100
X.....	.0113
XI.....	.0123

— Господи, как дороги дрова, Антонида Васильевна!

— А квартиры, Яков Иваныч?

— И квартиры тоже... Всё новые дома строят, всё строят, а квартиры и не думают дешеветь. Я за свою конурку пять рублей плачу, Антонида Васильевна... Впрочем, нужно будет переменить квартиру.

— Я три рубля плачу вот за эту мерзость, Яков Иваныч. И квартиры дороги, и дрова дороги, и люди нынешние — дрянь.

— Совершенно верно-с: дрянные люди. Даже и не люди, а так что-то такое: взять в руки нечего. Даже молодежь — и та ничего не стоит. А в наше-то время, Антонида Васильевна... Господи, точно все это во сне видишь... Закроешь глаза и видишь...

— В живых-то только мы с вами остались.

— Да... Сколько лет будет, как умер Крапивин?

— Ах, давно... двадцать лет.

— Неужели? А точно вот вчера все было... И генерал умер, и Додонов... все умерли.

После этих грустных воспоминаний наступила длинная пауза. Яков Иванович долго жевал своим беззубым ртом, перебирал в руках платок, щурился и тяжело вздыхал. Все это было прелюдией к одному и тому же разговору, который всегда бесил Антонида Васильевну. О, она отлично знала, что старик пройдет своею расслабленною походкой по комнате, поправит старомодный воротник сюртука и проговорит:

— А ведь я говорил вам тогда, Антонида Васильевна... Ах, напрасно вы меня не послушались!..

Антонида Васильевна вскакивала с места, выпрямлялась и, приняв гордую позу, отвечала одно и то же:

— Яков Иваныч, вы никогда меня не понимали!

— Сорок лет я вам повторяю одно и то же... Ах, напрасно, Антонида Васильевна! Помилуйте, я тогда прямо сказал вам: покаетесь, Антонида Васильевна, да будет поздно. Да...

— И не покаюсь!

— А вот покаетесь.

— А нет!

Глядя на старика, Антонида Васильевна часто думала: «Совсем из ума выжил человек... и куда что девалось, подумаешь!..» Яков Иванович думал то же, глядя на Антониду Васильевну, и грустно качал головой. Неужели это она, та Антонида Васильевна, за которой ухаживал сам хромой генерал?.. Сгорбилась, обрюзгла, состарилась, глаза слезятся, лицо в морщинах, волосы седые — даже тени не осталось от прежней красавицы. Все тлен и суета, а женщины всегда останутся легкомысленными созданиями и будут всегда жить сегодняшним днем. Яков Иванович с сожалением оглядывал пустую комнату своей приятельницы, просиженный диван, единственный комод, заключавший в своих недрах все движимое Антонида Васильевны, и еще раз качал головой.

— Не хотите ли кофе, Яков Иваныч?

— Отчего же... Я, знаете, когда шел сюда, то думал: а хорошо бы выпить кофе. Кровь согревается.

Пока Антонида Васильевна возилась около самовара и согревала дрянной жестяной кофейник, Яков Иванович ходил своими старче-

скими шажками и что-нибудь рассказывал.

— Вчера я был на рынке, Антонида Васильевна... Капуста была такая дешевая. Я всегда у одной прасолки покупаю... Обманывает она меня, но я уж привык к ней. Хорошо-с... Стою я с мешком около лавки, а на меня лошадь... ей-богу, чуть не смяли. Сидит купчиха и говорит: «Я два воза капусты купила да воз огурцов». Ведь это очень выгодно, Антонида Васильевна, то есть выгодно все оптом покупать. Конечно; у кого есть деньги, так тем выгодно... Вот говядина тоже, сахар, кофе... Я всегда завидую богатым: всё дешево покупают, потому что вовремя. Привезли капусту — давай капусту, закололи теленка — давай теленка... хе-хе!.. Я прежде тоже хозяйственно жил и всегда делал запасы... Своя коровка была, лошадка... Вы мне не крепко наливайте: доктор не велит пить крепкий кофе.

— Знаю, знаю... Вот вам сливки, Яков Иванович.

— Благодарю... Так я и говорю, Антонида Васильевна: хорошо богатым людям на свете жить. Комнаты большие, светлые, теплые, запасов всяких много, да еще деньги в банке ле-

жат. Понадобилось — и взял из банка...

— Да, отлично.

Старики часто ссорились, особенно в ненастную погоду, но один без другого сильно скучали. Однажды у Якова Ивановича заболели ноги, и он целую неделю не показывался. Антонида Васильевна даже всплакнула про себя и послала знакомую кухарку узнать о здоровье. Сама она не решалась навестить своего старого друга: как она придет на квартиру к холостому человеку? Впрочем, старики хворали редко, хотя Якову Ивановичу стукнуло уже восемьдесят лет, а Антониде Васильевне было под семьдесят. Как особа с тактом, старушка не показывала вида, что рада каждому визиту своего старого друга и что без него страшно скучает. Мужчины неблагодарны, и тот же Яков Иванович мог подумать про нее бог знает что, как все мужчины. Им только позволь... Отношения Якова Ивановича действительно носили корыстный характер: отчего не выпить кофе фирмы «Чужой и К°», а потом все-таки моцион — полезная вещь, и наконец, керосин напрасно горит, когда сидишь один дома. Угощать Антонида Ва-

сильевна любила, как все женщины, — у ней это было в натуре — отдавать последнее. Вот это-то и довело ее до каморки, когда другие женщины, которые не стоят ее пальца, разъезжают на рысаках и покупают капусту возами.

А какие бывают скверные дни осенью, когда дождь зарядит с утра! На улицах грязь, окна в комнатах отпотеют, из всякой щели ползет предательская сырость, и богатые кажутся еще богаче, а бедность еще беднее. Яков Иванович кашлял, охал и все-таки полз к Антониде Васильевне, чтобы хоть поскучать вместе. Именно стоял такой ненастный день, когда старик явился напиться кофе к Антониде Васильевне. Он в темной передней бережно снял калоши осторожно поставил в уголок свой зонт, снял отяжелевшую от дождя шинель с крагеном[1] и проговорил в дверях:

— Можно войти, Антонида Васильевна?

Яков Иванович был самый вежливый и деликатный человек, и Антонида Васильевна именно за это его и любила больше всего: увы, таких вежливых людей больше нет!.. Нынешние люди не понимают такой простой

истины, что вежливость — это целый капитал и что благодаря именно ей в свое время Яков Иванович всегда Пользовался неизменным успехом у женщин. О, любовь ему ровно ничего не стоила, и ему многое прощалось именно за умение держать себя! Яков Иванович вовремя умел быть и смелым и скромным и всегда молчал: ни одной тайны не было им выдано. Вот секрет дожить до восьмидесяти лет, еще в силах, а дальше уже «труд и болезнь»... Женщины любили Якова Ивановича и в критических случаях советовались с ним, как было и с Антонидой Васильевной. Конечно, они делали по-своему, а Яков Иванович молчал, будто ничего не знает.

— Пожалуйте, Яков Иваныч...

Заняв свое обычное место на диване, Яков Иванович с присущею старым людям проницательностью сразу заметил, что Антонида Васильевна была сегодня не в своей тарелке. Может быть, получила неприятное письмо? Нет, писем она уже давно ни от кого не получала. Время писем миновало для нее... Что бы такое могло быть?

— Холодно, Антонида Васильевна.

— Очень холодно, Яков Иваныч.

В своем темном люстриновом платье Антонида Васильевна походила бы на монашку, если бы лицо ее не было покрыто темными пятнами от дрянных старинных белил. У монахинь лицо бывает такое белое и кожа — точно корка просвиры. Дома воротничков и рукавчиков она не носила, а когда приходил Яков Иванович, накидывала на плечи старенькую коворую шаль. Теперь Антонида Васильевна куталась в свою «тряпочку», как она называла шаль, сильнее обыкновенного и старалась не смотреть на гостя. Перебрав все темы, Яков Иванович вопросительно поглядел на дверь, откуда должен был появиться кипевший самовар. Он не понимал, зачем хозяйка так медлит, а сегодня ему особенно хотелось выпить кофе, — мерзавец погода.

— Вы здоровы ли, Антонида Васильевна? — спросил он наконец, аккуратно поймав табак.

Антонида Васильевна что-то перебирала на своем комодике и удивленно оглянулась, а потом быстро вынула из кармана платок и закрыла им лицо. Послышались сдержанные

всхлипывания. Как все мужчины, Яков Иванович не выносил женских слез и рассердился. Помилуйте, так могут капризничать одни девчонки... О, он хорошо знает цену этим женским слезам и никогда им не верил. В нем проснулась старческая жестокость. Но Яков Иванович всегда был вежливый дамский кавалер, поэтому, дав время пройти пароксизму, спросил по возможности ласково:

— Что с вами, Антонида Васильевна?.. Не могу ли я чем-нибудь быть полезным?

— У меня... у меня нет больше кофе!..

Яков Иванович был огорчен, но все-таки плакать не следовало. В жизни ему приходилось много видеть женских слез, и поэтому он пустил в оборот тот бессмысленный набор фраз, какими утешают плачущих женщин. Женщины любят, чтобы их так заговаривали, а смысл — это другое дело. Но и это верное средство не помогало; Антонида Васильевна продолжала плакать... Да и слезы были нехорошие, — те тихие слезы, которым, как осеннему мелкому дождю, конца нет. Старый эгоист только теперь пожалел свою приятельницу, тем более что это искреннее горе касалось

и его.

— Что же, Антонида Васильевна, убиваться? — бормотал он. — Если, нет кофе, то можно и чаю напитокся. Отлично согревает...

— И чаю нет... я... я не ела уже два дня... ничего нет.

У Якова Ивановича вырвался неопределенный звук: «Это уж слишком — и скверная погода и эти слезы». Он даже посмотрел на дверь, чтобы половчее улизнуть, — последнее много раз выручало его из критических обстоятельств. Но Антонида Васильевна повернулась уже к нему и, не вытирая катившихся по ее лицу мелких старческих слез, порывисто заговорила:

— Все это пустяки...

— Как пустяки?

— Что я нищая — это пустяки... Сама виновата. Но меня убивает одно: сегодня двадцать первое сентября...

— Ах, да... Ведь Павел Ефимыч был бы сегодня именинник. Да, да... Скажите, а я-то и забыл. Давно ли это было, подумаешь... Пир горой шел у Павла Ефимыча... шампанское...

— И это пустяки, — прервала его Антонида

Васильевна, комкая платок в дрожавших руках. — Сегодня я убедилась наконец, что тогда я действительно была глупа, а вы — правы... Да, вы были правы, Яков Иваныч, хотя прошлого и не вернешь.

— Ах, Антонида Васильевна, Антонида Васильевна... ведь я же говорил вам тогда?.. Если бы вы меня послушались...

— Я была молода... глупа... Кто бы мог подумать, что я проживу так бессовестно долго? Ведь я давно пережила себя...

— Да, да, состарились мы с вами, Антонида Васильевна...

— У меня теперь все бы было: и свой дом, и лошади, и прислуга... Сорок лет я думала, что поступила, как следует порядочной женщине, но вот сами видите, что из этого вышло... Нет больше кофе, Яков Иваныч!..

Это признание, вырванное отчаянием, обрадовало Якова Ивановича. О, он был прав, а женщины упрямы, как кошки... Если бы можно было вернуться назад каким-нибудь чудом и поднять из земли прошлое? В старике с страшною силой проснулась бессильная жадность, и его маленькие глазки засверкали.

— Знаете, что я вам скажу? — заговорил он, взволнованный желанием сказать Антонида Васильевне что-нибудь неприятное и хоть этим выместить на ней собственную правоту. — Нынче так не сделают, да! Нынешние примадонны умнее и этих сентиментальностей не признают... Стоило тогда ломаться!

— Нынешние примадонны?

Антонида Васильевна покраснела остатком своей старческой крови и молча указала Якову Ивановичу на дверь.

— Уйду, сам уйду-с... — бормотал он, спохватившись, что пересолил. — И дернуло же за язык с нынешними примадоннами... А все-таки я прав.

— Да, вы правы, но уходите... все правы... я оскорблена именно этим.

Очутившись на улице, Яков Иванович долго стоял на тротуаре и никак не мог понять, как это все вдруг вышло: сидел на диване и вдруг — вон... что же это такое?.. Он вернулся, постучал в дверь, но ответа не последовало.

Ровно сорок лет тому назад, в такой же ненастный осенний день Антонида Васильевна сидела в своей комнате перед зеркалом и старательно закручивала прядь своих белокурых волос в папильотки. В этот момент в комнату вбежали две девушки и в один голос закричали:

— Смотрите, смотрите: медведи!

— Смотрите: собаки!

Театральная квартира была как раз напротив театра, и по чистенькой городской улице медленно двигалась целая вереница телег. В каждой телеге сидело по четыре собаки и при них «человек». Собаки, истомленные длинным путешествием и промокшие под дождем, равнодушно смотрели по сторонам. Сопровождавшая их прислуга была одета в однообразный охотничий костюм: короткие серые куртки с серебряными пуговицами, широкие синие шаровары, барашковые высокие шапки с красными свешивавшимися на один бок курпеями[2] и красные широкие кушаки. У борзятников, выжлятников[3] и доезжачих

были свои собственные серебряные значки, прицепленные к левому плечу, и у каждого за поясом по кинжалу. Это была настоящая псовая охота, обставленная со всею роскошью. Когда первый обоз, состоявший из двадцати пяти телег, миновал; за ним показались громадные дроги, на каких возят тяжести. На дрогах были поставлены большие клетки из полосового железа, и в каждой клетке сидело по живому медведю. Всех дрог было пять, по числу медведей, и в Каждые было заложено по три тройки. Понятно, что такая необыкновенная процессия взбудоражила город, и по улице За поездом бежала Целая толпа.

— Да это зверинец!.. — говорил кто-то из девушек в театральной квартире.

— Нет, барская охота, как у нас в Расее... — заметила крепостная няня Улитушка, состоявшая бессменно при театральных барышнях.

— А медведи зачем, няня?

— Псов натравливать, чтобы злее были... У настоящих господ всегда так делают.

Естественным являлся вопрос, чья же это охота, но именно на него никто не мог отве-

тить. В Западной Сибири крупных помещиков не было, а золотопромышленники-раскольники не имели и понятия о настоящих барских потехах.

— Нужно узнать, няня, — решила Антониде Васильевна, занятая небывалым зрелищем. — Сходи к Павлу Ефимычу и спроси...

— Так и пошла: нашли девочку! — ворчала старуха,

— Няня, да ведь всего два шага?..

— У, баловницы!.. Да и Павла Ефимыча дома нет.

— Все равно, от камердинера узнаешь...

Старушка всегда ворчала, но баловницы умели заставить ее сделать по-своему, как было и теперь! «Ну, ин, схожу... не отвяжешься от вас».

— Бедные медведи, как им тяжело сидеть в этих клетках! — жалел кто-то из девушек, провожая глазами дроги. — Разбило их дорогой. Вон, посмотрите, один лижет железную полосу... Бедняжка, он пить хочет.

Один из медведей стоял на задних лапах, ухватившись передними лапами за переплет решетки, и смешно поводил мордой. Он чут-

ко нюхал городской воздух и глухо кряхтел. Лошади фыркали и косились. Какие-то бойкие городские мальчишки подбегали к самым дрогам и ухали на любопытных зверей...

— Вот я вас!.. — кричал главный доезжачий,[4] замахаясь на ребят толстым арапником.

Антонида Васильевна задумчиво проводила глазами весь обоз, и ей вдруг сделалось грустно. Неужели этих медведей будут травить громадными меделянскими собаками? Ух, страшно!.. Бедные, как им тяжело сидеть в своих клетках. Что-то такое тяжелое и горькое заныло в груди девушки: ведь и она тоже сидит в своей клетке.

— Няня, няня, ну что? — кричали девушки, весело гурьбой обступая возвратившуюся Улитушку. — Чья это охота?

— Ох, отстаньте... — отмахивалась старушка. — Чего пристали-то, как осенние мухи? Вот и не скажу... Павел Ефимыч на репетицию велел идти. Вот вам и охота...

— Нянюшка, миленькая...

— Барская охота, известно... Заводчик тут есть, Додонов по фамилии, — ну, так его и

охота.

Театральная квартира помещалась в двухэтажном деревянном доме с мезонином. В нижнем этаже жили актеры, а в верхнем — актрисы. Сам антрепренер Крапивин помещался в мезонине, наверху. Эта труппа в Загорье являлась первой и пока еще только готовилась к спектаклям. Театр тоже был недавно построен, и в нем еще пахло известкой, глиной и свежим деревом. На репетицию ходить не составляло особого труда: перешел улицу и — в театре. Актеры уходили раньше, а за ними уже являлись актрисы, под надзором Улитушки.

Когда все собрались в театре, там только и разговору было о проехавшей мимо охоте и о не известном никому Додонове. Предположениям, догадкам и шуткам не было конца.

— Он и оркестр свой везет, — рассказывал капельмейстер Яков Иванович, толкавшийся на репетициях около женских уборных. — Дас, двадцать пять человек музыкантов... Большой любитель музыки. В Краснослободском заводе у него и театр построен.

— Кто же будет играть в театре?

— А уж этого я не знаю... Спросите у Павла Ефимыча.

Комик Гаврюша (он же и декоратор) заметил, что, вероятно, у Додонова медведи будут давать представления. Всезнающий Яков Иванович сообщил, между прочим, что Додонов живет в Петербурге, где у него настоящий дворец и царская охота. Теперь он вздумал приехать на Урал, чтобы осмотреть свои заводы. Мужчины шептались и хихикали между собой, передавая подробности, как сегодня через город в закрытых повозках провезли в Краснослободский завод целый гарем, — Додонов был холостяк и любил женщин. Яков Иванович весело подмигивал и щелкал языком, как скворец.

— Хороший человек этот Додонов и умеет пожить... А что касается представлений на его театре, то я полагаю так, что ему без нас не обойтись. Вот Антониде Васильевне прекрасный случай показать свои таланты... При ее красоте и талантах все возможно-с....

На репетициях царил строгий порядок, и Крапивин не терпел закулисных сближений

и вольностей. За каждый недосмотр головой отвечала Улитушка, на попечении которой находилось целых пять актрис. Теперь ей стоило большого труда удержать свою команду в уборных, да и актеры точно сбесились: так и лезут. Особенно надоедал Яков Иванович.

— Ты-то с какой радости приклеился здесь, шубный клей? — ругалась с ним Улитушка, загораживая спиной дверь в уборную Антонины Васильевны. — Твое дело на скрипке скрипеть. Ужо вот придет Павел Ефимыч... Способа с вами никакого нет, с озорниками!

Появление на сцене антрепренера водворило приличный порядок, и Улитушка вздохнула свободно. Крапивин шутить не любил и держал свою трупшу в ежовых рукавицах. Сегодня он заметно был не в духе и едва кивнул головой на низкие поклоны актеров. Подвернувшийся под руку Гаврюша получил нагоняй за недоконченную еще декорацию.

— Павел Ефимыч, помилуйте, да когда же... — оправдывался комик, разводя руками. — И роль учи и декорации расписывай.

— Ты у меня рассуждать? — закричал Крапивин и, погрозив пальцем, прибавил: — Кто

будет со мной балясы точить, сейчас на гауптвахту посажу... Черкну записочку генералу — и готов раб божий.

Ввиду такой угрозы Улитушка, конечно, и не подумала жаловаться, хотя Яков Иванович и показывал ей язык, спрятавшись за декорацию.

— Можно войти, Антонида Васильевна? — спросил Крапивин в дверях уборной: отдельная уборная была только у Антонида Васильевны, как у примадонны и главной надежды всей труппы.

— Можно.

Быстро оглянув девушку, Крапивин присел к столу с зеркалом и широко вздохнул. Ему на вид было под сорок, но для своих лет Крапивин сохранился очень хорошо. Широкий в кости, плотный и сухощавый, он еще был хоть куда. Умное лицо с большими темными глазами нравилось женщинам, и только на лбу собирались преждевременные морщины. Дома и в театре ходил он в короткой бархатной куртке, всегда застегнутой наглухо.

— Вы свой номер приготовили? — небрежно спросил он, ероша русые кудри и думая о

чем-то другом.

— Да... Я отлично выучила.

Девушка всегда немного конфузилась в присутствии Крапивина, который говорил ей «вы» и резко выделял ее из остального женского персонала. Держал он себя с ней слишком вежливо для антрепренера.

— Я на вас надеюсь... — коротко ответил Крапивин и прибавил — Сегодня на репетицию будет сам генерал.

— Как же я в папильотках буду петь?

— Ничего... Старик добрый. Он расспрашивал меня, и я вперед похвастался вашим пением.

Этот мимоходом брошенный комплимент заставил Антониду Васильевну покраснеть, и она почувствовала, как в груди у нее сердце забило тревогу.

— Главное — костюм... — продолжал Крапивин, отбивая по столу красивым длинным пальцем дробь. — Впрочем, я сам посмотрю, когда все будет готово. Кстати, генерал мне говорил... Вы, вероятно, видели сегодня этот дурацкий поезд с собаками?

— Да... и медведи...

— И медведи... Так генерал предупредил меня, что этот Додонов — большой меломан и, вероятно, сделает труппе предложение отправиться к нему на завод... Все будет зависеть от генерала, и я, право, не знаю, как отказаться от подобной чести.

— Зачем же отказываться?

Лицо у Крапивина вдруг нахмурилось, и он быстро вскинул глазами на смутившуюся от этого быстрого взгляда девушку. Он даже раскрыл рот, чтобы что-то высказать, но удержался и только торопливо тряхнул своими кудрями.

— Там увидим, — бормотал он, уже ласково глядя на Антониду Васильевну.

Когда Крапивин вышел из уборной, Антониды Васильевны опустилась на стул в сладкой истоме. Она теперь поняла все: Крапивин ее любит больше, чем антрепренер. У ней кружилась голова от незнакомого ей чувства охватившей радости. Как ей дороги показались теперь эти голые стены, колченогая мебель и вообще вся убогая обстановка уборной, — вот здесь сейчас тихо и радостно зародилось ее первое девичье счастье, и молодое

сердце ударило в такт с другим сердцем. Девушка поняла и смутную тревогу Крапивина, который вперед ревновал ее к Додонову. Она посмотрела на себя в зеркало, выпрямилась и гордо улыбнулась.

— Генерал приехал, — шептала Улитушка, Врываясь в уборную. — Приехал и сел в передний ряд. А плут Яшка так под самым носом у него и лебезит...

В дверь постучал Гаврюша, — он исправлял и режиссерские обязанности. Нужно было выходить. Антонида Васильевна на скорую руку повязала голову тюрбаном, перекрестилась и уверенно вышла из уборной. Этот тюрбан очень шел к ней и сразу понравился генералу, который назвал ее турком. Она исполнила свой номер отлично, молодой голос легко и свободно разливался в пустой зале.

— Одобряю! — громко повторял генерал и даже в такт стучал костылем.

Это был настоящий николаевский генерал, высокий, плотный, стриженный под гребенку и туго затянутый в военный мундир с узкими рукавами, раструбом закрывавшими верхнюю часть кисти руки. Седые бакенбар-

ды от самого уха шли полукругом к щетинистым усам. Широкое красное лицо с большим носом глядело грозно. Одна генеральская нога была контужена еще под Браиловым в турецкую кампанию 1827 года, и старик ходил с коротким костылем, который служил в то же время и орудием домашних мер исправления. Вытянувшийся в струнку молоденький адъютант везде сопровождал генерала, как тень, и ловил каждый его жест.

— Ваше высокопревосходительство, как вы находите? — почтительно спрашивал Крапивин, заходя к генералу сбоку.

— Одобряю... А впрочем, братец, сюртук нужно надевать, да, сюртук.

— Слушаю-с... Рады стараться, ваше высокопревосходительство.

— Ты должен другим служить примером... Я не люблю беспорядков. Даже турки — и те свой порядок знают...

Довольный своим каламбуром, старик отправился за кулисы и ласково потрепал Антониду Васильевну по заалевшейся щеке.

— Ну, турок, старайся... Мы будем смотреть и молодеть... А я здесь живу, как отец в боль-

шой семье... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство — звонко отвечал адъютант, делая под козырек.

— Будьте и для нас родным отцом, ваше высокопревосходительство, — говорил Крапивин, беря Антониду Васильевну крепко за руку.

Генерал отступил на несколько шагов, сморил глазами стоявшую перед ним парочку и, весело улыбнувшись, ответил:

— Нет, не родным, а посаженным отцом согласен быть, хе, хе, хе!..

Антонида Васильевна вырвала свою руку и, зардевшись, скрылась в уборной. Это еще больше рассмешило генерала, и он, возвращаясь из-за кулис, несколько раз повторил:

— Турки всегда бегают от русских... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

— Всегда бегают, пока их не возьмут в плен...

Появление первого театра в Загорье всецело обязано было генералу. Старик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью. Генерал был всемогущ и при некоторой пылкости воображения мог бы строить пирамиды. Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным явлением. Секрет заключался в том, что генерал пожелал.

Труднее было организовать первую труппу, но и тут дело уладилось чуть ли не само собой. Подвернулся кочевавший по ярмаркам средней России антрепренер Крапивин, который и согласился ехать в Сибирь. Правильно поставленные труппы тогда существовали только в столицах да по богатым помещичьим имениям. Иногда еще появлялись бродячие труппы на бойких ярмарках, как и полуцыганская труппа Крапивина. Получив приглашение в Сибирь, он вынужден был потерять полгода, прежде чем обставил себя

приличными силами. Актеры еще были — военные в отставке, прогоревшие помещики, выгнанные со службы чиновники, но актрис, как свободной профессии, почти не существовало. Порядочные девушки не могли поступать на сцену уже — потому, что быть актрисой считалось зазорным, а крепостные артистки были недоступны. У Крапивина явилась отчаянная мысль самому создать собственных актрис. С этой целью он отправился в Орловскую губернию, в имение недавно умершего помещика меломана, у которого был свой домашний театр и при нем театральное училище, и здесь законтрактовал шесть девочек-подростков на особых условиях. Наследники меломана были рады выгодной афере и отпустили своих воспитанниц под надзором няньки Улитушки, которая должна была отвечать головой за целостность доверенного ей живого товара. Девочки все до одной были крепостные — дочери дворовых и крестьян. Воспитанные в училище «полубарышнями», как говорила Улитушка, они были рады отправиться в неизвестную даль. Сам Крапивин, на их счастье, был очень поря-

дочный человек и страстный любитель сцены. Он постарался обставить свою труппу, чтобы она не походила на ярмарочные балаганы, — средства были обеспечены вперед.

Прежде чем отправиться на Урал, Крапивин на пути дал несколько пробных спектаклей, чтобы определить собственные силы и чтобы труппа вообще, выражаясь техниче-ски, спелась. Как оказалось, выбор был сде-лан недурно, и молодые артистки производи-ли просто фурор, особенно в среде помещи-чьей публики. Сразу выдались Антонида Ва-сильевна, как хорошая певица и драматиче-ская актриса, а потом балерина Фимушка (у орловского меломана было обращено особен-ное внимание на балет). В Симбирске у Кра-пивина произошла неприятная история из-за этих примадонн: привязались два помещика, которые сначала ухаживали за актрисами, а потом хотели их украсть. Когда последнее не удалось и они узнали, что актрисы крепост-ные, то поклялись, что их купят, несмотря ни на какие контракты. Крапивину ничего не оставалось, как спасаться бегством от заку-лисных героев, и он бежал, поплатившись за

свои быстрые успехи декорациями и частью театрального гардероба. Это было хорошим уроком для человека, который ехал в Сибирь, — приходилось держать ухо востро.

— Ты у меня смотри, старая! — каждое утро грозил Крапивин являвшейся к нему с докладом Улитушке. — Без соли съем, ежели что...

— И то стараюсь, Павел Ефимыч: все глазыньки проглядела...

Некоторым утешением для Крапивина являлось то, что в Сибири не было помещиков, следовательно, не могло быть и симбирских неприятностей, а купцы не посмеют грабить его. Конечно, были здесь богатые золотопромышленники-раскольники, потом крупные заводчики, но первые жили по-старинному, а последние не показывали носа на Урал. Все-таки, во избежание недоразумений, Крапивин, по приезде в Загорье, немедленно явился к генералу и объяснил ему все начистоту.

— Не беспокойся, братец: я здесь один отец для всех, — успокоил его старик, любивший театр. — Гусаров у нас нет, а с остальными мы справимся, в случае чего... На гауптвахту — и

конец делу.

— Я маленький человек, ваше высокопревосходительство, защитите.

— Хорошо, хорошо... У меня все по-семейному.

Старик генерал был главным горным начальником и пользовался почти неограниченной диктаторскою властью. Крепостное горное положение являлось государством в государстве, и недаром старик называл себя под веселую руку царем.

Обеспечив себя с этой стороны, Крапивин постарался обставить себя и дома, как в неприступной крепости. Поместившись в мезонине, он мог видеть каждый шаг. Актрисы не имели права делать ни одного шага без его позволения. Когда комик Гаврюша брэнчал на разбитых фортепьянах, помогая Антониде Васильевне разучивать оперные нумера, Улитушка сидела около него с чулком в руках и не спускала глаз. То же было и с Яковом Ивановичем, когда под его скрипку выплясывала Фимушка любимые публикой характерные танцы.

— Гаврюша ничего, а Яшки я боюсь: хитер

пес, — жаловалась Улитушка. — Того и гляди набалуует. Очень уж у него глаз вострый да масляный.

Ввиду такой опасности Крапивин заставлял Антонида Васильевну разучивать нумера при себе. Он все сильнее и сильнее привязывался к даровитой девушке, делавшей быстрые успехи. Репертуар был небольшой, но тщательно составленный: оперы — «Семирамида», «Белая дама», «Тоска по родине», трагедии — «Коварство и любовь», «Дмитрий Донской», драмы — «Она помещана», «Дитя, потерянное в лесу», комедии — «Урок дочкам», «Заемные жены», «Три султанши», «Жена и зонтик» и целый ряд веселых старинных водевилей — «Архивариус», «Ночной колокольчик», «Лорнет» и т. д. Больше всего Крапивин рассчитывал на две пьесы, которые и ставил на первый раз с особенною тщательностью: «Параша Сибирячка» Полевого и «Русская свадьба» Сухонина. Он видел эти пьесы в Петербурге и хотел удивить провинциальную публику. Кроме того, Антонида Васильевна разучила несколько модных романсов.

— Нам придется создавать здесь театральную публику, — объяснял Крапивин своей примадонне, с которой обращался по-товарищески. — Дело не легкое, но мы будем работать вместе.

— Я боюсь генерала, Павел Ефимыч, — наивно признавалась Антонида Васильевна, выращенная в страхе божием и барском.

— Пустяки... Старик добрый.

Дома актрисы ходили в простеньких ситцевых платьях и вообще одевались скромно. Театральный гардероб тоже был невелик, потому что невозможно было обставить сразу целый театр. Но все это сравнительно являлось пустяками, а Крапивина беспокоила мысль о том, как бы выкупить своих артисток на волю. Конечно, он мог сначала откупить одну Антониду Васильевну, но такое преимущество поставило бы его в фальшивое положение пред остальными, тем более что он положительно чувствовал себя неравнодушным к примадоннам. В нем боролись антрепренер и любовник.

Первое представление сошло блистательно. Присутствовал сам генерал, а следовательно-

но, вся его свита и целый штат горных инженеров. Набрались в ложах местные чиновники и купцы с семьями, а один золотопромышленник купил целых пять лож, чтобы угодить генералу, но сам в театр не посмел явиться, опасаясь своих начетчиков и исправленных попов с Иргиза.[5] Одним словом, набралась чисто сибирская публика. В новеньком занавесе уже были проверчены хористками дыры, и любопытные глаза рассматривали сидевших в партере.

— Додонов здесь, — шушукались между собой актрисы. — Сидит рядом с генералом.

Последнее известие сильно взволновало Крапивина. Он инстинктивно боялся этого человека, напоминавшего ему оставленную там, далеко, помещичью Россию. Он даже боялся подойти к занавесу и посмотреть на своего неприятеля. Антонида Васильевна тоже заметно волновалась, но старалась не выдать себя. А Додонов сидел и весело разговаривал с генералом. Это был среднего роста, средних лет господин, одетый в статское платье. Но сюртук не мог скрыть военной выправки. Додонов когда-то служил в одном из дорогих

полков и по одной истории вышел в отставку с чином полковника. Круглое усатое лицо глядело большими усталыми глазами. Когда Додонов улыбался, у него неприятно оскаливались десны. Массивная золотая цепь, болтавшаяся на пестром бархатном жилете, и толстый перстень с большим солитером на большом пальце левой руки выдавали записного столичного щеголя. Он сидел, заложив одну короткую ногу на другую, и не обращал никакого внимания на почтительно сидевшую в партере публику.

— Я тоже люблю театр, ваше превосходительство, — говорил он, немного картавя и растягивая слова.

— Отличное дело, отличное дело... Необходимо развивать вкус в публике.

— У меня будет свой театр, ваше превосходительство. Надеюсь, что вы не откажетесь осчастливить меня своим посещением, когда, конечно, все будет устроено.

— Непременно, непременно.

Генерал вообще был в духе и милостиво шутил с окружающими. Когда он аплодировал, остальные неистово его поддерживали. В

одном месте он резко оборвал Якова Ивановича.

— Вторая скрипка врет.

«Параша Сибирячка» прошла отлично, и сам генерал вызывал Антонида Васильевну. Додонов молчал и только мельком взглянул на раскланивавшуюся примадонну прищуренными глазами. Этот взгляд сильно смутил девушку, и она чувствовала его на себе все время, — он ее точно связывал и лишал необходимой свободы.

Танцевавшая в антракте Фимушка вызвала целую бурю восторга, генерал даже стучал своим костылем, а Додонов аплодировал ей, улыбался и еще сильнее щурил свои глаза.

— Каковы у меня актрисы, полковник? — хвастался старик. — Хоть сейчас в столицу... Конечно, они еще молоды...

— С молодостью еще можно помириться, ваше превосходительство.... Это такой недостаток, который исправляется сам собой.

— Ты думаешь?.. Полковник, смотрите, у меня строго. Ни-ни!.. ...

Вызванный Крапивин раскланивался с

публикой, прижимая руку к сердцу. Додонов внимательно рассматривал его в золотой лорнет, а потом, не дождавшись конца спектакля, ушел. У Крапивина точно гора с плеч свалилась, когда он увидел рядом с генералом пустое кресло. Но Крапивин поторопился обрадоваться: Додонов сидел в уборной Фимушки и как ни в чем не бывало забавлялся смущением перепуганной крепостной танцовщицы. Улитушка попробовала было загородить ему дорогу в уборную, но Додонов оттолкнул ее, как тряпичную куклу.

— Пропала моя головушка... — причитала старуха, поймав Крапивина. — Так прямо и лезет в двери, бесстыжие глаза. Легкое место сказать: Фимушка-то чуть не голая там с ним сидит.

Крапивин весь побелел от бешенства, но что делать с нахалом? Выгнать его — значило оскорбить генерала. Но опытный и бывалый человек нашелся; отдан был приказ Якову Ивановичу играть какой-то испанский танец, и Фимушка была освобождена. Она танцевала теперь с особенным усердием и немедленно после своего номера, под конвоем Улитуш-

ки, была препровождена на квартиру. Додонов посидел несколько времени один, а потом надел картуз и вышел. Вся труппа вздохнула свободнее, когда его широкая спина скрылась в проходе со сцены в буфет. Антониды Васильевна сидела в это время в своей уборной, затворив двери на крючок, — ее бил лихорадка, как и в Симбирске.

«Если так дело пойдет и здесь, то мне опять придется бежать», — думал про себя Крапивин, решившийся бороться отчаянно.

После спектакля генерал тоже явился за кулисы и потребовал «турка». Когда девушка, не успевшая еще переодеться после «Русской свадьбы», вышла к нему в своем красном сарафане, он по-отечески расцеловал ее в обе щеки и проговорил:

— Одобряю, милашка... Есть талант. Молода еще, всего не поймешь сразу, но старайся. Так, Гоголенко?

— Совершенно верно-с, ваше высокопревосходительство.

— Весьма одобряю...

Со стороны генерала особенной опасности не предвиделось: он был женатый человек, да

и его собственные лета служили лучшим обеспечением. Старик действительно любил сцену, и только.

Первые же спектакли показали, что существование труппы в Загорье совершенно обеспечено. Главную поддержкой всего дела являлся все-таки генерал, который не пропускал ни одного представления. После первого спектакля Додонов больше не показывался в театре. Крапивин лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь, и с раннего утра до позднего вечера не знал отдыха. Он был один и везде должен был поспеть в свое время. Единственным его отдыхом были те немногие часы, которые он проводил в комнате Антониды Васильевны, — у ней была своя комната, как и уборная.

— Нужно серьезно относиться к делу, — поучал Крапивин свою первую ученицу. — Первые успехи еще ничего не значат. Даром ничего не дается... Для сцены стоит поработать. Нас после помянут добрым словом.

Старая Улитушка была очень недовольна этими беседами с глазу на глаз. «Вот еще моду затеяли, на что это похоже?.. Отвечать-то пе-

ред господами кому придется?.. А девка молодая, долго ли до греха?..» Другие девушки ревновали Антониду Васильевну и посмеивались над старухой, особенно беззаботная и простоватая Фимушка.

— Ох, согрешила я с вами! — стонала старуха и даже отплевывалась. — Вот ты, Фимка, ногами дрыгаешь, а того и не подумаешь, что и ноги-то у тебя не свои.

— А чьи, няня?

— Известно, чьи — господские... Вся ты чужая, Фимка!

## IV

Перед рождеством генерал пригласил Крапивина к себе. Антрепренер надел свою лучшую пару и отправился с визитом не без некоторого опасения. Когда извозчик подвозил его к высокому двухэтажному зданию с мезонином, колоннами, террасой и двумя балконами, он предпочел бы лучше вернуться домой. Утро стояло морозное, и стоявшие у подъезда лошади нетерпеливо вытанцовывали лихорадочную дробь. В передней уже ожидали своей очереди несколько горных чиновников и два подрядчика. Крапивин скромно поместился в уголке и здесь терпеливо ожидал своей очереди. Швейцар из отставных солдат появлялся в дверях и выкрикивал фамилию очередного. Крапивину пришлось ждать недолго — швейцар пригласил его не в очередь.

Передняя с комнатой, где дожидались посетители своей очереди, помещалась в нижнем этаже. Широкая мраморная лестница вела вверх, где расположена была генеральская казенная квартира.

— Обождите малость здесь, — задыхавшимся шепотом предупредил швейцар, оставляя Крапивина во второй приемной наверху.

Од вернулся сейчас же и молча распахнул двери в большой зал с паркетным полом. Из этой комнаты одна дверь вела в гостиную, а другая в кабинет. Генерал сидел у письменного стола в «вольтеровском» кресле; Гоголенко скромно помещался в уголке, между письменным столом и шкафом с бумагами.

— А, это ты, братец! — заговорил генерал, не глядя на вошедшего и милостиво протягивая ему два пальца.

— Не замедлил явиться, ваше высокопревосходительство...

— Спасибо за исправность... А я тебя, братец, пригласил затем, чтобы поблагодарить... Да, спасибо. Отличная у тебя труппа.

— Вы очень снисходительны, ваше высокопревосходительство.

— Нет, зачем? Что хорошо, то хорошо... Одобряю. Даже столичные люди, и те приходят в восторг... Мне весьма лестно. Вчера был у меня полковник Додонов и тоже одобрял.

Он большой меломан и знает толк... гм... да... Так вот этот полковник Додонов и пригласил меня к себе на завод. У него там театр домашний выстроен... вся обстановка... Так как в субботу труппа свободна, то полковник Додонов и делает тебе приглашение играть у него. До завода-всего пятьдесят верст, зимой это три часа езды... Все расходы и лошади на счет полковника Додонова. Предложение выгодное для тебя и лестное для меня... Ну, что же ты молчишь?

— Я, ваше высокопревосходительство... если, конечно, вы, ваше высокопревосходительство... вообще я очень благодарен вашему высокопревосходительству.

— Я это знал и вперед выразил свое согласие полковнику... В следующую субботу мы, значит, увидимся с тобой в Краснослободском заводе.

— Как вам будет угодно, ваше высокопревосходительство...

— Постарайся не ударить лицом в грязь... Не так ли, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

Крапивин побледнел, как полотно, но ничего не возражал, — это было бесполезно. Генерал не выносил противоречий. Когда Крапивин, откланявшись, выходил уже из двери, старик окликнул его.

— Вот что, братец... Если ты сомневаешься за безопасность своей труппы, то могу тебе поручиться. Полковник, конечно, большой аматер[6] и любит хорошеньких женщин, но во-первых, у него своя труппа есть для этого, а во-вторых, мы ему пропишем такую Симбирскую губернию... У меня все по-семейному, и я не посмотрю, что он полковник!

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство!

Домой Крапивин вернулся, как в тумане. У него все вертелось в голове. Как избыть налетевшую беду? Пожалуй, это будет похуже симбирских помещиков, да и бежать дальше уж было некуда.

— Позовите ко мне Антонида Васильевну, — сказал он кому-то из попавшихся на встречу актеров.

Когда девушка пришла в мезонин, Крапивин довольно сухо пригласил ее сесть, про-

шелся несколько раз по комнате и заговорил:

— Сейчас я получил большую неприятность... Генерал непременно желает, чтобы наша труппа каждую субботу ездила в Краснослободский завод и давала спектакли на домашнем театре Додонова. Вы, вероятно, стороной слышали, что за человек этот Додонов, поэтому не буду распространяться о нем... Рассориться с генералом я не могу, и остается одно средство спасения: бежать опять. Вот я и пригласил вас, Антонида Васильевна, чтобы серьезно посоветоваться, что делать. Я на вас смотрю, как на лучшую надежду всей труппы... вы уж большая... наконец, вы хорошо знаете меня.

Эта откровенность сначала смутила Антониду Васильевну, но потом она прямо посмотрела в глаза Крапивину и проговорила тихо:

— Откровенность за откровенность, Павел Ефимыч: вы боитесь за меня?

— Если хотите, да... я именно за вас боюсь...

— Напрасно... Я слишком уважаю свое положение, чтобы променять его на какое-нибудь другое.

Крапивин ласково взял ее за руки и со слезами в голосе заговорил:

— Дитя мое, я верю вам... я не могу не верить. Но для всякого страшно одно: человек не знает самого себя. Я понимаю, что в вас сейчас говорит известное чувство благодарности, наконец, в вас есть хорошие привычки и то, что называется порядочностью, но есть также богатство, роскошь... Устоите ли вы перед страшным соблазном? Богатства я вам не могу обещать... напротив, перед вами жизнь, полная лишений и труда. Наша профессия даже не пользуется необходимой степенью уважения, и особенно женщине приходится выносить много несправедливостей. Вы знаете, как смотрят на актрис наши театральные меломаны...

Крапивин вообще говорил недурно, а теперь он увлекся.

— Искусство святая вещь, а сцена — это верх всякого искусства. Вашими слезами будут плакать тысячи зрителей, они же будут смеяться вашим смехом, а вы будете проводить в темную и необразованную массу идеи истины, добра и красоты. Хорошая сцена вос-

питывает массы, она вносит в ежедневный обиход этой жизни свой язык и пробуждает в обществе лучшие инстинкты и стремления. Величайшие умы работали для театра, чтобы этим путем провести в жизнь свои заветные убеждения, назвать каждый порок его настоящим именем, обличить неправду и сказать ласковое, хорошее слово тем, кому жизнь тяжела... Ах, нет, вы еще не можете понять всего! — как-то застонал Крапивин и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. — Вы потом, когда-нибудь поймете меня.

Действительно, эта убежденная речь была понятна девушке только вполовину, а Крапивин говорил с ней слишком возвышенным языком. Ей более понятно было то, что слышалось в интонации, в страстных переливах голоса и во взгляде собеседника. Раньше ей льстило особенное внимание, с каким относился к ней Крапивин, но теперь она даже испугалась завязывавшейся короткости. Ей просто хотелось жить, не вваливая на себя каких-то странных обязанностей и не подвергаясь ответственности.

На этом общем совете было решено, что

группа поедет к Додонову, приняв необходимые предосторожности. Крапивин все-таки ужасно волновался, хотя и старался не выдавать себя перед трупшой. Он сделался подозрительным. Актеры были слишком испорченный народ, чтобы сочувствовать ему. В этом случае он и не ошибался. Первым противником являлся тот же Яков Иванович, расстраивавший труппу своими смешками и подмигиваниями.

— У нас не труппа, а какой-то монастырь, — вышучивал он актеров. — Конечно, Крапивину это на руку... И Антонида Васильевну в лапы забрал, да и других упустить не хочется. Жирно будет... хе, хе! Погоди, вот Додонов покажет, как добрые люди на свете живут.

Наступила и роковая первая суббота. В полдень к театральной квартире подкатило ровно десять троек, заложенных в ковровые кошевые. Из всех экипажей выделялась белая кошевая, заложенная сивою тройкой. И дуга была белая, и вся сбруя из белой лакированной кожи с серебряным набором, и колокольцы под дугой серебряные; ухарь-кучер с седой

бородой сидел на облучке орлом.

— Я скажусь больной... — заявила Антонида Васильевна в решительную минуту.

— Нет, зачем же? — успокаивал ее Крапивин. — Я этого не желаю... Делайте так, как скажет вам ваше сердце. Что думаю я, вы знаете...

Прокатиться на таких тройках для всей труппы было настоящим праздником. Особенно волновались женщины, напрасно стараясь скрыть свою радость от хмурившегося начальства. Крапивин своими руками усадил Антониду Васильевну в белую кошевую, вместе с нянькою Улитушкой. Балерина Фимушка тоже рассчитывала попасть сюда и была обижена, когда пришлось ехать в обыкновенной кошевой, вместе с другими. Крапивин ехал последним и на всякий случай сунул заряженный пистолет в боковой карман своей бархатной курточки. С ним рядом сидел режиссер Гаврюша.

— Возьми бы и нас, Павел Ефимыч, — просился Яков Иванович.

— У Додонова свой оркестр.

Но Яков Иванович все-таки уехал в Крас-

нослободский завод, примостившись где-то с актрисами.

Погода стояла морозная, крепкая. Широкая дорога лентой повела в Урал, туда, где синими шапками теснились горы. Скоро начался лес, стоявший по колена в глубоком снегу. Особенно красивы были ели, обсыпанные мягкими белыми хлопьями, точно какие сказочные деревья. С гиком и свистом летели тройки вперед, заливаясь колокольчиками, а впереди всех, как лебедь, неслась белая кошева. Вся труппа была в восторге от этого импровизированного удовольствия, и даже Гаврюша улыбался, искоса поглядывая на молчавшего Крапивина. Антонида Васильевна заалелась на морозе всей своей молодой кровью и все оглядывалась назад, стараясь рассмотреть, где ехал Крапивин.

. — Няня, как хорошо... как хорошо! — шептала она, припадая к Улитущке.

— Глупая ты, Тонюшка, вот что! — ворчала зябнувшая старуха. — Чему радуешься-то прежде времени? Павел Ефимыч вон ночь-ночью сидит...

— Ах, няня... чем же мы-то виноваты?

В одном месте заяц бойко пересек дорогу, отковылял немного в сторону и присел под елкой. Улитушка так и ахнула.

— Ох, неладно дело... — шептала она, творя молитву и отплеиваясь на левую сторону. — Чтобы ему пусто было, треклятому! Обождал бы, а то прямо через дорогу. Ох, не быть добру...

В сумерки поезд уже подъезжал к заводу. Кругом широкими валами расходились горы. Селение залегло кривыми у ладами по отлогому скату. Громадный заводский пруд уходил из глаз белою скатертью. У плотины весело дымилась и сыпала искрами фабрика. Веселые огоньки мигали по всему селению. Громадный господский дом стоял на прикрутости, недалеко от фабрики, и спускался к пруду старинным садом. Окна были ярко освещены, и, видимо, все ожидало гостей. В саду темною глыбой поднималось какое-то необыкновенное здание, с вышками и башенками.

— Это театр? — спрашивала Антонида Васильевна кучера.

— Нет, барышня... собачий дворец.

Подъезд был ярко освещен, и гостей встре-

тила целая толпа прислуги, разодетой в русские костюмы — поддевки, красные шелковые рубахи, бархатные шаровары и круглые шапочки с павлиньими перьями. Пахнуло теплом громадного барского дома. Воздух был подкурен ароматической смолкой. Какой-то лысый старичок принимал всех с низкими поклонами и повел гостей в нижний этаж, где приготовлена была целая квартира — три комнаты для актрис и две для актеров. Несколько горничных помогали актрисам раздеваться и глядели на них с жадным любопытством. Крапивин осмотрел квартиру и запер на ключ маленькую дверку, выходящую куда-то в темный коридор.

— Пожалуйте к барину, — приглашал его лысый старичок. — Генерал еще не приехали, и придется подождать-с.

Крапивина повели во второй этаж, передавая с рук на руки, от одного лакея к другому. Мраморная широкая лестница была устлана ковром, по сторонам зеленела шпалера из экзотических растений. Во втором этаже открывалась целая анфилада комнат, освещенных в ожидании генерала, как перед праздником.

Хозяин ждал антрепренера в своем кабинете. Это была высокая комната, обитая дорогими тисненными обоями. По стенам было развешано всевозможное охотничье оружие, блестящее золотую и серебряною насечкой. Два шкафа по углам тоже заняты были принадлежностями охоты. Несколько турецких низеньких диванчиков и большой письменный стол составляли всю мебель. Над столом, в простенке между двумя окнами, в тяжелой золоченой раме висела большая картина. Конечно, это была голая красавица, валявшаяся на пестрой тигровой шкуре. Додонов дома ходил в пестром шелковом бешмете и в турецкой фесе. Он не протянул руки Крапивину и не предложил стула.

— Генерал передал вам мои условия, — с легкою картавостью проговорил он, передавая пакет. — А это мой задаток. Надеюсь, господа артисты не будут на меня в претензии.

— Я думал бы свести счета потом,

— Пожалуйста, без возражений.

Выходя из кабинета, Крапивин думал: «Вот мерзавец!» Он, не разорвав конверта, сунул пакет в боковой карман, где лежал пистолет.

Следующею неприятностью для него было то, что он нашел актеров в буфете, где их угощали лысый старичок. Актрисам был подан чай.

— Мне придется, пожалуй, играть одному, — заметил Крапивин, указывая старичку на бутылки.

— С холоду только погреться... немножко...

— Все это так, но не лишнее было бы спросить и меня.

— Слушаю-с.



Генерал заставил себя прождать до девяти часов вечера. Согревшись после холода, актрисы дремали, а Фимушка, привезенная для какого-то номера в дивертисменте, спала самым бессовестным образом. Антонида Васильевна жаловалась на головную боль, — у ней действительно глаза были красные.

— Мне нужно посмотреть сцену, — несколько раз повторял Крапивин прислуживавшемуся около актеров старику.

— Все готово, будьте спокойны. У нас порядок.

— Да ведь нужно же знать, как двери отворяются?

— Не приказано-с...

Когда последовало, наконец, приказание, актеров гурьбой повели какими-то коридорами и переходами сначала в зимний сад, а потом уже в театр. Это было совсем отдельное здание, устроенное по специальному плану. Маленькая сцена походила на игрушку, — вымощена она была так высоко, что музыканты сидели совсем в яме. Партера не было, а для

публики назначался полукруг лож. Вся обстановка этой затеи поражала роскошью. Стены и потолок расписаны в голубовато-сером тоне, с серебром; такой же занавес с довольно смелым мифологическим сюжетом — Венера рождалась из серебряной пены; ложи отделены между собой драпировками из тяжелого китайского шелка, в простенках опять шелковые полосы — одним словом, театр хоть куда. Уборная примадонны походила на бонбоньерку, выложенную серебристым атласом. Даже Крапивин ахнул, когда осмотрел все.

— Это какой-то сумасшедший, — бормотал он, шагая за кулисами. — Тут нужно не наших ситцевых актрис, а совсем другое.

Всех больше восторгался Яков Иванович, толкавшийся в оркестре. У Додонова свой оркестр состоял из двадцати пяти человек, под управлением капельмейстера-итальянца Неметти. Музыканты были набраны из своих крепостных и всюду сопровождали владыку.

Спектакль начался только в десять часов и кончился около часа. Для первого раза был поставлен водевиль «Петербургский булочник», а остальное дивертисмент: пела Анто-

нида Васильевна, танцевала качучу Фимушка, сам Крапивин декламировал монолог из «Разбойников» Шиллера. Антракты были очень короткие, так что актеры едва успевали переодеться.

Публику изображали всего двое: генерал и Додонов. Гоголенко, конечно, был тут же, но он не мог идти в счёт, как простая тень генерала. В углу одной ложи пряталась какая-то женская фигура, которая интересовала всех актеров, — очевидно, это была одна из додоновских одалисок. Яков Иванович напрасно старался разглядеть таинственную незнакомку, хотя после и уверял всех, что это замечательной красоты девушка, с огненными глазами и китайскою ножкой.

Аплодисментов и вызовов не было, а только генерал послал своего адъютанта выразить господам артистам благодарность. Крапивин вздохнул свободнее, когда все кончилось. На деле пока еще ничего страшного не было, хотя Улитушка вздыхала и морщилась больше обыкновенного.

— Это просто скучно, — решила Фимушка, когда актрисы вернулись в свои комнаты. —

Хоть бы медведей посмотреть.

Утром следующего дня труппа весело катила домой тою же дорогой и в том же порядке. Крапивин совсем успокоился. Когда он вечером распечатал конверт, в нем оказалась ровно тысяча рублей, — это было уж совсем по-барски, и можно было помириться с некоторыми неудобствами. Да и сам Додонов держался таким неприступным божеством, что лучшего и требовать было нельзя.

Любопытство труппы было удовлетворено, и Крапивин был спокоен за следующую поездку. Додонов просто дурил, не зная, куда ему девать свои миллионы. Ну, и пусть его дурит... Антонида Васильевна молчала, но она только сейчас заметила бедную обстановку и своей квартиры и театральной уборной. Она даже во сне видела свою уборную в театре Додонова, — да, это была ее уборная, устроенная именно для нее. У девушки являлось неясное и глухое чувство недовольства, нежелание выдать свое душевное настроение, особенно Крапивину. Никогда она еще не чувствовала с такою болезненною ясностью своего приниженного положения крепостной артистки, и

что-то вроде зависти мелькнуло у ней к другой обстановке.

— А ты не слушай Павла-то Ефимыча. Со всем-то не слушай: он свое, а ты свое. У мужчин у всех повадка...

— Грешно, няня, тебе так говорить...

— Не про себя говорю, матушка. И в глаза Павлу-то Ефимычу скажу... Мужчина-то куда захотел, туда и пошел, а девушке одна дорога.

— Какая?

— А такая... Будешь все знать, скоро состаришься.

Следующая поездка оказалась веселее. Генерал не приехал, и Додонов после спектакля пригласил всю труппу ужинать к себе наверх. Все время на хорах играла музыка, и дамы были в восторге. Додонов сидел в конце стола и весело разговаривал с Антонидой Васильев-ной. Он сам почти не пил никакого вина, но к гостям был беспощаден — прислуживавшие за столом лакеи не давали опустеть ни одной рюмке. Крапивин пил больше обыкновенного и делал вид, что очень доволен всем и всеми. Только когда Фимушка выпила лишнее и чуть не заснула за столом, он побледнел и

сморщился.

— Господа, не забудьте, что мы здесь едим и пьем из милости, — объяснял Крапивин подгулявшим артистам. — Это печальная необходимость в нашем положении, но нужно бояться прихлебательства и лакейства.

В следующий раз Додонов показал труппе свой собачий дворец и вообще всю охоту.

— Хотите посмотреть, как травят медведей? — предлагал он Антониде Васильевне.

— Ах, нет... Страшно!

— Ну, не так страшно, как может показаться издали, — заметил он, прищуривая глаза. — Знаете, какое самое страшное из всех животных?

— Тигр?

— Нет.

— Лев?

— Нет: человек.

Со своими гостями Додонов вообще держался джентльменом. Правда, проскальзывала иногда обидная снисходительность, но он умел ее очень ловко стусевать. Когда генерала не было, в театре набиралось довольно много публики, и все ложи были заняты. По-

являлся старичок исправник, потом старшие служащие с семьями. Додонов обыкновенно сидел в ложе один и на сцену не заглядывал.

— Где же гарем? — допытывалась любопытная Фимушка.

Актеры молчали, хотя и шептались между собой. Существование гарема было известно всем и больше всего интересовало гостей, но никто и ничего не умел сказать. Улитушка пробовала заговаривать с горничными, но те прикидывались чуть не глухонемыми. Лысый старичок — его звали Иваном Гордеевичем — был ласков по-прежнему, но тоже молчал.

Этот Иван Гордеевич, приезжая в город, непременно завертывал к актерам. Он «барышням» привозил конфеты, а мужчин угощал барскими сигарами. Особенно близко ласковый старичок сошелся с Улитушкой и Яковом Ивановичем. Они запирались втроем и о чем-то подолгу беседовали. Улитушка заметно скрытничала, а по вечерам от нее пахло иногда наливкой. Однажды Иван Гордеевич забрался в комнату Антонида Васильевны.

— Посмотреть на вас завернул, ангел вы наш, — объяснил он. — Довольно-таки у нас в заводе про вас разговоров. Хе, хе!

— Неужели уж других разговоров нет, как только про меня?

— Говорим обо всем... разное говорим, а под конец и сведем на Антонида Васильевну. Ей-богу-с...

— А для чего вы Улитушку наливкой поите?

— Что-то не упомню-с... При древности ихних лет их и без наливки ветром шатает, а старушка почтенная. Позвольте ручку поцеловать.

Антонида Васильевна подозревала, что происходит что-то неладное, но что именно — не могла разгадать. Ее и занимало легкое ухаживание Додонова и вместе делалось страшно. Но ведь не съест же он ее в самом деле, а отчего не подурочить такого миллионера, привыкшего к легким победам? Пугало ее, между прочим, то, что Додонов славился силой: ломал подковы и ходил один на медведя, — что такому зверю стоило схватить ее и затащить куда-нибудь в такой угол своего

дворца, откуда не выцарапаешься? При каждом удобном случае Улитушка старалась свернуть словечко за Додонова — вот барин так настоящий барин, и все у него форменно.

— А зачем он своих крепостных девушек мучит, хороший-то барин? — спорила с ней Фимушка. — Набрал их чуть не сотню, да и запер под замок, как кощей.

— Ты еще этого и понимать не можешь: известно, барское положение. Чего им, девушкам твоим, сделается: кормят, одевают, а потом и замуж выдадут. Небось, не убудет, что проживут в холе да в неге. За счастье должны считать, что внимание обратили на их черную кость...

В Улитушке сказалось старое рабье сердце, хотя она и сама в дни своей юности немало износила горя от такого барского внимания.

Последняя суббота перед рождеством осталась в памяти Антонида Васильевны навсегда. В господском доме опять ждали генерала, и артисты слонялись из угла в угол без всякого дела. Особенно скучали артистки, которым положительно было некуда деваться. Актеры в таких случаях обыкновенно забирались во флигель к додоновским музыкантам и там коротали время за графином с водкой. Зимний вечер тянулся без конца. Фимушка, по обыкновению, спала; другие актрисы тоже дремали. Одна Улитушка старалась бодрствовать, что стоило ей громадных усилий: после мороза старуху так и позывало всхрапнуть часик — другой.

Антонида Васильевна сидела у стола и читала какую-то роль для праздничных спектаклей. Чья-то легкая рука притронулась к ее плечу и заставила оглянуться, — это была низенькая старушка в старинном сарафане с серебряными пуговицами. Она глазами показала на дремавшую Улитушку и знаками пригласила следовать за собой. В первую минуту

девушка не согласилась, но потом махнула на все рукой: одолела скука... Да и старушка такая приличная на вид, а Додонов сидит в кабинете с Крапивинным. Старушка, как тень, повела ее за собою.

— Куда вы меня ведете? — спрашивала Антонида Васильевна, когда они очутились в коридоре.

— Милушка ты моя, не бойся... — ласково шептала старушка. — Послали меня за тобой... Пелагея Силантьевна прислала, потому давно ей охота тебя повидать.

— Какая Пелагея Силантьевна?

— А вот увидишь, какая... Только бы этот змей нам не встретился, Иван Гордеич. Сживет он меня со свету...

Безвыходное положение ласковой старушки тронуло Антониду Васильевну, и она пошла за ней, догадываясь, куда та ее вела. Минував большой коридор, они свернули куда-то налево, потом поднялись во второй этаж и опять пошли по коридору. Видимо, их ждали, и невидимая рука отворила дверь в конце коридора.

— Ну, вот и пришли, слава богу, — уже ве-

село заговорила старушка и повела гостью за руку через ряд низеньких и жарко натопленных комнат.

Кругом была самая скромная семейная обстановка. Обтянутая дешевеньким ситцем мебель, выкрашенные серою краской стены, цветы — и только. Навстречу из одной комнаты показалась невысокого роста худенькая дама и сделала старушке знак оставить их одних.

— Извините, что я вас побеспокоила, — заговорила она приятным и свежим голосом, который совсем уж не гармонировал с ее истомленным, худым лицом и тонкими, как плети, руками. — Вы не сердитесь?

— Нет... вы желали меня видеть?

Хозяйка усадила гостью на маленький диванчик и все смотрела на нее своими неестественно горевшими глазами.

— Неужели вы ничего не слышали про Пелагею Силантьевну? — спрашивала она, едва удерживаясь от желания расцеловать гостью. — А мне так хотелось вас видеть, видеть совсем близко. Какая вы красивая... Свежая... Я всего раз видела вас и то издали — в

первый спектакль. Но о вас столько говорят... я первая без ума от вас... помните, как вы тогда пели?.. Я ведь тоже прежде пела...

Хозяйка не давала гостье сказать слово и все говорила сама, говорила торопливо, точно боялась чего-то не досказать. Время от времени она схватывала руку Антонида Васильевны и прикладывала ее к своей груди.

— Слышите, как сердце бьется... точно птица? О, я скоро умру, и лучше. А ведь я тоже была красивая, — не такая, как вы, но могла нравиться...

Пелагея Силантьевна откровенно рассказала о себе все: она дочь чиновника, бедного маленького петербургского чиновника, и познакомилась с Додоновым лет десять тому назад, когда поступила швеей к его матери. За работой она всегда пела, и голос ее погубил... У Додонова всегда был целый штат любовниц, но она его полюбила и теперь еще любит.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на его теперешних фавориток? — неожиданно предложила она и, не дожидаясь ответа, что-то

шепнула ласковой старушке, вынырнувшей точно из-под земли. — Это будет для вас интересно... а потом Галактионовна вас проводит другим ходом, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

В коридоре скрипнули двери, и послышались легкие шаги. Антонида Васильевна не знала, куда ей деваться: и посмотреть ей хотелось додоновских красавиц и как-то делалось совестно. Ведь им, наверное, будет неловко перед посторонним человеком. А в соседней комнате уже слышался смех, и шушуканье, и ворчание Галактионовны, терявшееся в сдержанном шуме голосов. Когда Антонида Васильевна вышла в гостиную, у ней зарябило в глазах — так много было девушек. Много было красивых и молодых лиц, но красавицы ни одной, и все одеты очень скромно, как небогатые швейки. Они смотрели на актрису во все глаза, и только две девушки прятались позади.

— Это новенькие... — шепнула Пелагея Силантьевна. — Еще не успели привыкнуть.

Всех девушек было пятнадцать, и Пелагея Силантьевна называла их в глаза мастерица-

ми.

— Хотите посмотреть девичью? — предлагала она.

— Если это никого не стеснит.

— У нас попросту, без стеснений,

«Девичья» состояла из ряда комнат, обставленных еще скромнее квартиры Пелагеи Силантьевны, — получалось что-то вроде меблированных комнат. В каждой кровать, комод с зеркалом и несколько стульев. На всех окнах занавески. Девушки сначала дичились гости, а потом самые смелые даже начали разговаривать с ней. Была и общая комната, в которой жили девушки, получившие отставку. В другой такой же общей комнатке помещались кандидатки в девичью, — их долго мыли и чистили, учили манерам и умению одеваться, прежде чем представить владыке. Одна комната была заперта, и Антонида Васильевна поинтересовалась узнать, что здесь находится.

— А это так... на всякий случай, — уклончиво ответила Пелагея Силантьевна, моргая глазами в сторону столпившихся девушек.

— Карцер? — догадывалась Антонида Ва-

сильевна.

— Почти... вообще, когда нужно отделить кого-нибудь. Наказаний у нас не полагается, а домашние меры...

По знаку Пелагеи Силантьевны, все девушки разошлись по своим местам. Антонида Васильевна стала прощаться. У ней было грустно и тяжело на душе.

— Посидели бы вы, голубчик, — умоляла хозяйка. — Если бы вы знали, как мы здесь все любим вас... Когда вы поете, все девушки слушают вас из зимнего сада. В театр им нельзя показаться, так хоть издали послушают... Они меня умоляли пригласить вас сюда.

— Очень рада... я не знала этого раньше.

— А вы обратили внимание на последнюю привязанность Виссариона Платоныча? Представьте себе, совсем какая-то замарашка, а ему нравится... Конечно, она еще девчонка, ей нет и шестнадцати лет, но все-таки странный вкус.

На прощанье Пелагея Силантьевна взяла с гостыи слово, что она еще как-нибудь завернет к ним в девичью. Старая Галактионовна провела ее обратно, через второй этаж, парад-

ными комнатами. Дорогой она спросила Антонида Васильевну:

— Ты сегодня опять петь будешь?

— Буду...

— Спой ты што-нибудь жалобное, голубушка ты наша, — самое жалобное. Это мне девушки наказывали тебя попросить... В ножки, говорят, поклонись соловушке.

— Хорошо, хорошо...

Кажется, еще никогда Антонида Васильевна не пела так хорошо, как в этот вечер. Генерал и Додонов аплодировали, а она не заставляла себя просить и начинала снова петь. Кончилось это тем, что ей сделалось дурно.

— Зачем так насиловать себя? — ворчал Крапивин, ухаживавший за нею с какими-то спиртами. — Это неблагоприятно, а этих дураков мы не удивим...

Девушка не сказала, для кого она пела. Ее была лихорадка, и зубы выделывали холодную дрожь. О, она знала, для кого пела, и благодарила бога, что могла вылить свою душу... Пусть хоть в песне узнают о воле, о любимом и дорогом человеке, о горе и радости свободных людей.

Додонов жил князем и ни в чем себе не от­казывал. Краснослободские заводы давали ежегодно миллион рублей чистого дивиден­да. Поездка на Урал была одной из его доро­гих фантазий. В Петербурге сидеть надоело, за границей он успел побывать везде, все ви­дел и все испытал, что можно было купить на деньги. У него были три слабости: женщины, охота и музыка. В карты он не играл и вина почти не пил. По натуре он не был злым чело­веком, как не был и добрым. Жизнь вел ско­рее уединенную и редко где бывал... Полови­ну дня он проводил за книгами: прекрасная библиотека в несколько тысяч томов путеше­ствовала всюду за ним. Владея тремя новыми языками, он мог наслаждаться сокровищами всей европейской литературы. Прибавьте к этому железное здоровье, молодость, краси­вую наружность, — кажется, и желать боль­ше ничего не оставалось, а Додонов был несчастнейшим человеком и скучал, как сто­нищих вместе не могут скучать.

Сотни людей раболепствовали перед ним и жадно ловили каждый его взгляд, а влады-

ка боялся наступления следующего дня, который принесет с собою новую скуку. Единственная страсть, которая еще минутами согревала его, была любовь к женщинам. Но и здесь все являлось выстроенным по известному шаблону. Продажная красота уже давно не прельщала его, а свои крепостные красавицы надоедали собачьей покорностью, — каждая новая женщина являлась только копией предыдущей. Иногда Додонов начинал ненавидеть всех женщин и не заглядывал в девичью по месяцам. Единственным исключением являлась Пелагея Силантьевна, от которой он никак не мог избавиться. Она присосалась к нему, как чужеродное растение, и он не мог выпутаться. Это были самые невозможные отношения. Додонов даже не мог сказать, красива она или нет, как о самом себе. Его поражала кошачья живучесть этой женщины, преследовавшей его, как собственная тень. Она была с ним то ласкова, то груба до дерзости и всегда полна жизни и внутреннего огня. Всего более Додонова удивляло то, что она его любила и любила искренне. Был еще другой человек, который тоже любил его, — это лы-

сый старичок Иван Гордеевич. Поэтому, вероятно, старик и главная метресса ненавидели друг друга всеми силами души, что забавляло иногда Додонова.

— Ну, что новенького, премудрый Соломон? — спрашивал Додонов: он по-домашнему называл старика Соломоном. — Когда ты женишься на Поле?..

— Это вы касательно Пелагеи Силантьевны?

— Да, касательно...

— Лучше уж я удавлюсь, Виссарион Платоныч... Это — аспид, а не баба. Ржавчина, купоросная кислота...

— Значит, ты ее боишься?

— Я?.. Да я ее пополам перекушу.

Паша платила тою же монетой премудрому Соломону, и не один раз у них дело доходило до рукопашной. Додонов смотрел на них и улыбался, как над иллюстрацией человеческого ничтожества. Жизнь, полная безделья и всяких излишеств, очень рано выработала из него дешевого философа-пессимиста. Чужие страдания не трогали его душу, а правды для него не было на свете. Все шло, как этому

нужно было идти, и все пойдет, как тому должно быть. Каждый человек — жалкая пешка в игре невидимой руки. Гарун-аль-Рашид насчитал в своей жизни четырнадцать счастливых дней, а Гете всего одну четверть часа, да и эти счета были сделаны под старость и едва ли соответствовали истине. Из чего же хлопотать, работать, убиваться?

Живым человеком Додонов чувствовал себя только на охоте, когда шел с рогатиной на медведя. Нужно было чем-нибудь встряхнуть притуплённую нервную систему, и тут являлись такие ощущения, каких не переживал ни один немецкий философ. Но теперь и охота не тешила Додонова. В последний раз на медвежьей облаве он промазал по матерому зверю в пятнадцати шагах и только махнул рукой, когда медведь пошел наутек. Главный медвежатник Никита даже обругал барина за оплошку и добил красного зверя уже сам.

— Шкуру ты свезешь туда... в город... — устало приказывал Додонов премудрому Соломону. — Да чтобы голова была набита, как живая.

Эта медвежья шкура появилась на полу

уборной Антонида Васильевна в городском театре. Никто не видал, как она попала туда; но все знали, откуда явился такой подарок.

Охота была заброшена, и скучавшие без дела собаки выли по ночам в своем собачьем дворце. Привезенные для травли живые медведи тоже лежали по клеткам самым мирным образом. А Додонов сидел у себя в кабинете и только по вечерам отдавал приказ, чтобы в главной зале играла музыка. Оркестр играл в пустых комнатах, а Додонов лежал у себя в кабинете и слушал. Он закрывал глаза и старался вызвать любимую женскую тень, которая от субботы до субботы бродила по его пустовавшему дворцу. Премудрый Соломон только вздыхал, бессильный помочь барскому горю.

Когда он являлся из города, Додонов спрашивал его немым взглядом своих усталых больших глаз.

— Плохо, Виссарион Платоныч... — уныло докладывал верный раб. — Поперек дороги стал этот проклятый Крапивин.

— Я ее куплю, если на то пошло, — отвечал Додонов.

— Это бы вернее, Виссарион Платоныч...

— Убирайся, дурак!

Купить крепостную примадонну дело было самое легкое, но не этого ждал Додонов. У него своих красавиц непочатый угол. Ему хотелось, чтобы Антонида Васильевна сама его полюбила. Чем он хуже какого-нибудь несчастного Крапивина? Додонов несколько раз приглашал антрепренера к себе в кабинет и подолгу разговаривал с ним; ничего особенного в нем нет, и даже старше его лет на пять. Конечно, он постоянно у ней на глазах, наконец, она находится в известной от него зависимости, но это все были пустяки.

Раз вечером Иван Гордеевич явился с таинственным видом, как собака, учуявшая дичь. Он даже облизывался от удовольствия.

— Что скажешь, премудрый Соломон?

— Суета суетствий, Виссарион Платоныч, и всяческая суета...

— Только-то?.. Ну, не особенно много даже для мудрости Соломона...

— А есть и еще весточка одна...

Старик осторожно оглянулся кругом и, подкравшись к самому уху владыки, прошеп-

тал:

— Антонида Васильевна в прошлый раз была в нашей девичьей.

— Не может быть!

— Верно-с... И всех ваших метресок видела. А надвела ее Пелагея Силантьевна...

Додонов вскочил, как ужаленный, и даже замахнулся на старика.

— Убейте, на месте убейте, — шептал съжившийся от страха Соломон, — а было дело... Всю девичью обошла и обо всем расспрашивала. Теперь как я к ним на глаза-то покажусь?

— Позвать Полю сюда!

Когда явилась к ответу Пелагея Силантьевна, Додонов встретил ее отборною руганью, размахивая руками под самым ее носом; Иван Гордеевич подслушивал происходившую бурю сейчас за дверями и улыбался. Что он с ней разговаривает? Катал бы прямо с уха на ухо или отдал бы в его распоряжение...

— Для чего ты это делала, а?! — ревел Додонов, наступая на Пелагею Силантьевну. — Ты хочешь отмолчаться, змея... Нет, я из тебя жилы вытяну, на конюшню пошлю...

— Виссарион Платоныч...

— Молчать!.. Да мне на всю девичью наплевать... слышала?.. Мне надоела вся эта ваша гадость, да!.. Я знаю, чего ты добивалась: пусть-де актриса посмотрит, как Виссарион Платоныч развратничает, да?.. Так?.. Ты боялась новой соперницы, да?.. Так знай же, что ты сделала себе же хуже...

Едва заметная улыбка скользнула по бескровным губам Пелагеи Силантьевны, и она смело посмотрела в глаза Додонову.

— Вы забываете только одно, Виссарион Платонович, — заговорила она уверенным тоном, — что за вами есть и еще кое-что, кроме девичьей...

— А, ты желаешь пугать меня... Вон!

— Вы лучше убейте меня, а пока я жива...

Додонов сильно позвонил. Когда на звонок выскочил Иван Гордеевич, он, не глядя на обоих, проговорил всего одно грозное слово:

— На конюшню!

— Я не ваша крепостная! — кричала Пелагея Силантьевна, стараясь отбиться от Ивана Гордеевича. — Я не позволю обращаться с собой, как с крепостной девкой...

— Двойную порцию этой змее, — спокойно продолжал Додонов. — Я за все отвечаю...

Когда барахтавшуюся и кричавшую Пелагею Силантьевну вытащили из кабинета и когда смолк на лестнице поднятый этою возней шум, Додонов опять позвонил. В дверях вытянулся лакей в русской поддевке. Сделав несколько концов по комнате, Додонов с удивлением посмотрел на него.

— Ты зачем здесь?

— Изволили звонить-с...

— Я? Ах, да... Иди скорее на конюшню и скажи, чтобы отпустили Полю сейчас же.

— Слушаю-с.

Как ни торопился Иван Гордеевич исполнить барское приказание, но не успел. Пелагею Силантьевну дотащили уже до корпуса конюшен, где происходили всякие экзекуции, и выскочили уже конюха, как прибежал во весь дух лакей и остановил готовившееся жестокое дело. У Ивана Гордеевича опустились руки: все было готово, каких-нибудь десять минут и — Пелагея Силантьевна не ушла бы из конюшни на своих ногах, а тут вдруг... Старик опрометью бросился наверх, чтобы про-

верить лакея.

— Оставить Полю, а мне лучшую тройку, — приказал Додонов, не смотря на премудрого Соломона.

Вся девичья замерла от страха, когда Пелагею Силантьевну принесли из конюшни на руках. Ей сделалось дурно, и Галактионовна долго хлопотала около больной, растирая ее разными снадобьями. Когда Пелагея Силантьевна пришла в себя, она долго хохотала и плакала, как сумасшедшая, — с ней истерика продолжалась всю ночь.

— Он меня узнает... Я ему покажу... ха, ха!.. — заливалась она, кусая зубами подушку. — Пусть бьют... я не крепостная.

## VIII

Лучшая серая тройка вихрем неслась в Загорье, а Додонов все погонял. Седой старик кучер, лучший наездник, не жалел лошадей: все равно — тройка пропала. Через два часа показался город, и загнанная тройка остановилась у театральной квартиры. Додонов вбежал прямо во второй этаж. Крапивина, к несчастью, не было дома, и Улитушка, попробовавшая загородить дорогу, отлетела в угол, как ворона.

— Мне нужно видеть Антониду Васильевну, — потребовал Додонов, располагаясь в зале, как у себя дома.

— Она не одета, — докладывала перепуганная горничная.

— Я подожду.

Антонида Васильевна учила роль, когда горничная прибежала сказать ей о неожиданном госте. Девушка даже не удивилась, точно она ждала Додонова. Одевшись в простенькое домашнее платье и поправив волосы перед зеркалом, она вышла в залу такая спокойная и самоуверенная. Додонов сидел на диване,

низко опустив голову. Скрип отворившейся двери заставил его оглянуться.

— Вы меня желаете видеть? — проговорила Антонида Васильевна, не протягивая руки.

— Да.

— Что вам угодно?

Додонов нетерпеливо оглянулся и сделал шаг вперед.

— Не беспокойтесь, нас никто не будет подслушивать, — предупредила его Антонида Васильевна.

— Раньше я не решался объяснить с вами, но вы сами дали повод... — начал Додонов, трогая усы.

— Именно?

— Вы понимаете, про что я говорю... Вы видели и знаете все и, как порядочная женщина, как девушка, не можете не презирать меня.

— Совершенно верно. Я могу только удивляться вашему присутствию вот здесь.

— Я вас не задержу. Заметьте: вы первая дали мне повод! Вы знаете меня с самой дурной стороны, и я приехал сказать вам, что... что я действительно дурной человек.

— И только?

По странному тону Антонида Васильевна приняла Додонова за пьяного, да и глаза у него были красные.

— Нет, не только! — уже резко заговорил он. — Я был дурной человек до встречи с вами... У меня открылись глаза, и я сам презираю себя. Богатые, избалованные люди везде одинаковы, с тою разницей, что делают гадости с большею или меньшею степенью откровенности. Я откровеннее других... От вас будет зависеть, чтобы я был другим человеком.

— Другим вы не будете, Виссарион Платоныч, а меня вы оставьте в покое... Если вы желаете откровенного мнения о себе, то узнайте: я вас ненавижу.

Додонов рассмеялся и прищурил глаза. Смелая речь крепостной примадонны еще сильнее разожгла его страстное чувство.

— А если я вас куплю, как крепостную? — прошептал он.

— Никогда этого не будет.

— Ага, увидим...

— Я отравлюсь, даю вам мое честное слово. Лучше честная смерть, чем позорная

жизнь... От тех несчастных, которых вы держите в своей девичьей, вы этого не услышите, так выслушайте от меня.

— Вы жестоко раскаетесь в своих словах.

— Никогда. До свидания.

Додонов вскочил и умоляюще протянул руку вперед.

— Еще одно слово, — шептал он, меняя тон. — Нет такого страшного грешника, который не мог бы заслужить прощения... Я еще не встречал действительно порядочной женщины. Во мне всегда видели только деньги и деньги... Действительного чувства, серьезной привязанности я не знал до сих пор. Не заставляйте меня делать новую несправедливость. Я сдаюсь на все ваши условия, и нет такого желания, которое не было бы исполнено сейчас же.

Антонида Васильевна показала молча на дверь. Додонов поклонился, быстро повернулся и вышел. Спускаясь по лестнице, он встретился с Крапивинным, но не узнал его. Крапивин остановился и проводил его глазами до экипажа, а затем быстро вбежал во второй этаж.

— Как разбойник ворвался, — докладывала шепотом Улитушка, — а Тонюшка его приняла по-своему... Не понравилось, вот и бежал.

Антрепренер пробежал прямо в комнату Антонида Васильевны. Девушка лежала за ширмочкой на своей кровати и горько рыдала.

— Что случилось, Антонида Васильевна?

— То, что должно было случиться.

— Додонов предлагал вам что-нибудь?

— Все... на выбор... Я сказала, что лучше отравлюсь.

— Дитя мое, потерпите. Сегодня я получил письмо от вашего помещика, с которым веду переговоры, относительно вольных всей труппе. Да...

— И что же?

— Слава о ваших успехах, к несчастью, предупредила мое письмо, и он требует за одну вашу свободу десять тысяч.

В ответ слышались новые рыдания. Крапивин схватил себя за голову и молчал. В окно, разрисованное морозом, смотрелся уже ранний зимний вечер. Откуда-то издалека до-

носился жалобный благовест. Антонида Васильевна оставалась за ширмочкой и тяжело всхлипывала. Да, она крепостная, и с ней могут сделать все, что захотят. Зачем же ее учили, зачем в ее ролях говорится о какой-то свободной жизни, о любви и радостях? Крутом так темно, и не видно просвета.

— Я думаю обратиться к генералу, — заговорил Крапивин после длинной паузы. — Старик добр...

— Что из этого выйдет?

— Во-первых, необходимо отделаться от Додонова, а во-вторых... вообще, нужно же что-нибудь делать.

— О Додонове не беспокойтесь: он во второй раз не придет.

В последнее время между Антонидой Васильевной и Крапивиным установились немного натянутые отношения, и она, видимо, избегала откровенных разговоров с ним. Определенного повода к такому положению не было, но девушка инстинктивно стала держаться подальше, точно проверяя самое себя. Ведь она его не любила, — зачем же мучить человека напрасно? Крапивин, кажется, дога-

дывался о душевном настроении своей любимицы и старался не лезть в глаза. Он полагался на время. Ведь она еще так молода и многого не в состоянии понять. Даже в отношении к Додонову он не желал вмешиваться, — пусть сама оценит, кто и чего стоит. Эти слезы после визита Додонова служили лучшим доказательством, что он, Крапивин, рассчитал верно. Конечно, было известное увлечение обстановкой и рассказами о Додонове, но это пройдет само собой, только не нужно навязываться с своею собственной особой.

Вопрос о выкупе крепостных актрис не давал покоя Крапивину. Если уж теперь помещик требует за одну Антониду Васильевну десять тысяч, то отчего ему не назначить пятьдесят, — произволу нет границ и конца. Иногда Крапивину приходила мысль обратиться к Додонову: что ему значило — выкинуть каких-нибудь двадцать тысяч! Эта сумма давила теперь антрепренера, как тяжелый камень. Были, конечно, богатые люди в Загорье, особенно в среде золотопромышленников, но как к ним обратиться, когда раскольничьи попы и начетчики считают театр бесоудод-

ною пляской? Оставалось ждать и сколачивать средства из своих театральных грошей. А время уходит, и вместе с ним день за днем подтачиваются силы. Крапивин хватался за свои редевшие кудри и приходил в отчаяние. Недоставало только этой истории с Додоновым.

Слова Антонида Васильевны не сбылись: Додонов не оставил ее в покое. Он теперь почти каждый день являлся в спектакль и занимал свое обычное место в первом ряду. Когда был назначен бенефис Антонида Васильевны, — это был первый ее бенефис, — он послал ей за свое место тысячу рублей и букет из белых камелий.

— Я ему возвращу эти деньги... — заявляла Антонида Васильевна.

— Нет, не возвращайте, — советовал Крапивин. — Пусть они пойдут на ваше освобождение из крепостной зависимости... Додонову не все ли равно, куда ни бросать деньги, а здесь они по крайней мере пойдут на хорошее дело.

Антонида Васильевна ничего не ответила и только задумалась. Обстоятельства так

складывались, что ей точно нельзя было избавиться от Додонова. Вот и Крапивин советует взять деньги... После того, что она наговорила ему тогда, другой на его месте и носу не показал бы в театр, а он еще букет посылает. Эта настойчивость интриговала ее: может быть, Додонов и не такой человек, каким кажется. И няня Улитушка то же говорит... Приняв деньги, Антонида Васильевна сочла себя обязанной приколоть одну камелию к своему белому платью. Она была необыкновенно эффектна в этот вечер и на бесконечные вызовы пропела лучшие номера в своем репертуаре.

— Если бы я был помоложе, полковник... — повторил несколько раз генерал, подмигивая Додонову. — Ведь это брильянт!..

— Редкие камни, ваше превосходительство, требуют слишком дорогой оправы, — отшучивался Додонов.

По желанию генерала была устроена подписка, и бенефициантке поднесли несколько золотых безделушек: два браслета, брошь и серьги. После спектакля в уборной Антониды Васильевны набралось много поклонников и в том числе генерал с Додоновым. Крапивин

велел подать шампанского, — пир так пир.

— В наше время пили шампанское из башмачков красавиц... — шутил генерал, чокаясь с Антонидой Васильевной.

— Как хозяйка, по русскому обычаю, я желаю вас поцеловать, ваше высокопревосходительство... — заявила бенефициантка, покраснев от собственной смелости.

— Спасибо... Это уж совсем по-семейному.

Генерал поцеловал хорошенькую актрису при звуках торжественного туша и громких аплодисментах набравшейся в уборной публики. Молчал один Додонов. Он держался как-то в стороне, как виноватый. Эта покорность польстила Антониде Васильевне. Да, она сегодня была так счастлива, как еще никогда, а этот Додонов походил на школьника, поставленного в угол. Даже генерал заметил это и проговорил:

— Что ты, братец, как мокрая курица?.. Может быть, мне завидуешь?

— У меня сегодня в чужом пиру похмелье, ваше превосходительство, — ответил Додонов и сейчас же начал прощаться.

— Какой он странный... — удивлялся ста-

рик, когда Додонов вышел. — Право, очень странный. Не так ли, Гоголенко?

— Совершенно странный, ваше высокопревосходительство.

— А между тем полковник... богат... молод...

Развеселившийся генерал заставил Антониду Васильевну поцеловаться и с Крапивинным, что та исполнила очень неохотно. Крапивин был этим огорчен и заметно надулся, но девушка чувствовала себя слишком счастливой, чтобы замечать чужое настроение. Дома его ожидала другая неприятность: комната Антонидаы Васильевны во время спектакля была убрана заново.

Кровать из красного дерева была покрыта одеялом из бухарского шелка, китайская ширмочка служила для нее точно экраном; роскошный туалет, зеркало в настоящей серебряной раме, ковер на полу, мягкий диванчик, обитый голубым атласом, — словом, все заново. Конечно, это устроил Иван Гордеевич, пока шел спектакль, и об этой затее знала вперед одна Улитушка. От старухи сегодня пахло наливкой сильнее обыкновенного. Кра-

пивин совсем взбесился, когда узнал все.

— Я этого не могу позволить! — кричал он, бегая по комнате. — Я антрепренер, и все артистки у меня на ответственности.

Антонида Васильевна молчала. Ей сделалось жаль, когда стали выносить из комнаты додоновские подарки и поставили на место старую мебель. Торжество закончилось для нее слезами. Она не могла даже дать отчета самой себе, о чем плакала. В душе накипело такое обидное и нехорошее чувство: зачем она крепостная, подневольная актриса, зачем Додонов такой богатый и дурной человек?.. Где-то в глубине души у ней шевельнулось чувство к нему, и она сама испугалась, как человек, который неожиданно очутился на краю пропасти. Но, с другой стороны, что она сделала такое, чтобы сердиться на нее, как делает Крапивин?.. И Крапивин тоже нехороший человек, потому что думает только о себе. Да, он эгоист, этот Крапивин.

— Ишь, как расходился! — ворчала Улитка, раздевая свою «шпитонку», как она называла всех своих воспитанниц. — Небиль помешала... Ведь она, небиль-то, не виновата.

А ты бы завел сам такую-то... Додонов барин настоящий, ничего не пожалеет.

— Няня, будет тебе... — оговаривала ее Антонида Васильевна, лежа в постели.

— А всегда скажу... Тоже с меня не голова снята. Да... форменный барин.

Явилось еще одно обстоятельство, которое тоже неприятно действовало на Антониду Васильевну. Другие актрисы завидовали ей, а откровенная Фимушка высказала это слишком уж прямо. Эта зависть отравила бенефициантке ее торжество окончательно, и она даже швырнула свои подарки на пол.

— Ну, Милитриса Кирбитьевна, ты не очень швыряй, — ворчала на нее Улитушка, подбирая футляры. — Тоже не щепки, а деньги плачены... Вон Фимушка-то что говорит: «Я бы, говорит, прямо убежала к Додонову». Умок-то у ней невелик, а тоже придумала.

Крапивин в это время ходил у себя в мезонине из угла в угол, как попавший в засаду волк. Так-то ценят его заботы, его честность, его преданность одному искусству... Достаточно показать несколько блестящих побрякушек и шелковых тряпок, чтобы разрушить

всю его работу. Нет, он так дешево не продаст себя. То неприятное чувство, которое он пережил сегодня, начало мучить, как напрасная тяжесть. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое Антониде Васильевне, — пусть день кончится для нее мирно. Он спустился во второй этаж и постучал в двери комнаты своей любимицы.

— Антонида Васильевна, не спите?

Ответа не последовало: примадонна сердилась, и Крапивин, улыбнувшись, побрел в свой мезонин.

## IX

С Антонидой Васильевной происходило что-то странное: она начала задумываться и скучать. По субботам труппа по-прежнему уезжала в Краснослободский завод. Додонов был предупредителен, вежлив — и только. Он только раз спросил Антониду Васильевну, правда ли, что его подарки выброшены из комнаты.

— Да, правда, — ответила она, опустив глаза.

— Это было ваше собственное желание?

— И да и нет... Сначала мне не хотелось расставаться с такими хорошими вещами, но потом я поняла, что принимать такие дорогие подарки неприлично...

— Почему?

— Потому что нужно уметь за них платить, а что может дать крепостная актриса?.. Кроме этого, с вашей стороны было просто неделикатно обязывать бедную, трудящуюся девушку такими денежными подарками. Поставьте себя на мое место и скажите, как вы поступили бы?

— Я?.. Я сказал бы, что этого слишком мало... да! Разве можно заплатить деньгами за то наслаждение, которое доставляется талантом?.. Нищим являюсь я, а не вы... Своим пением, своею игрой вы будите во мне живого человека... Ведь это называется воскресением из мертвых.

Они сидели одни в большой гостиной, где со стены смотрели хмурые фамильные портреты. Теперь Антонида Васильевна несколько не боялась Додонова и спокойно ходила по всем комнатам, кроме девичьей. Ловкий Иван Гордеевич умел так устроить дела, что Крапивин не мешал этим tête-à-tête[7] тяжелой обстановке барского старого дома Антонида Васильевна являлась для Додонова блуждающим солнечным лучом, который на мгновение освещал его темную жизнь и исчезал. Она и сейчас сидела на бархатном диване такая красивая, свежая, и столько было чарующей прелести в этой белокурой грезовской головке, глядевшей прямо в душу Додонову своими серыми лучистыми глазами. У ней являлось желание помучить этого пресытившегося человека, и она заметно оживлялась в

его присутствии.

— Вы меня презираете, Антонида Васильевна? — спросил Додонов тихо и протянул свою руку к ее руке.

— Да, да... Мне делается гадко, когда я думаю о вашей жизни. Бывший офицер, образованный человек, и так погрязнуть... Я удивляюсь, как можно унижить себя до такой степени! Есть просто известная порядочность, которая не позволяет людям делать гадости.

— Но если нет руки, которая вывела бы из этой обстановки, если нет ответа на самое святое чувство и если этим человека заставляют делать новые гадости?

— Что вы хотите этим сказать?.

Додонов взял ее за руку и с каким-то благоговением поцеловал кончики ее пальцев. Она хотела выдернуть руку и не могла — голова кружилась, в глазах завертелись красные пятна. Ей было страшно и хорошо, но она пересилила себя и засмеялась нехорошим, холодным смехом.

— Какие нежности, Виссарион Платоныч... Вы, кажется, принимаете меня за горничную. Не хотите ли, я вам подарю ленточку на па-

мять?

Этот смех точно ужалил Додонова, и он даже отскочил от нее. О, это было похуже того, что он слышал от нее раньше!

— Понимаю все, — шептал он, хватаясь за голову. — Вы любите другого... Для этого другого... вы найдете и другие слова.

— Вы меня оскорбляете, Виссарион Платоныч... Не забудьте, что я у вас в гостях, и это вдвойне обидно.

Она встала и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Как он смел так говорить с ней? Про себя она повторяла каждое его слово и открывала в нем что-нибудь обидное для себя. Но не все ли ей равно, что он говорит? Антонида Васильевна обманывала себя: ее уже начинало тянуть к Додонову. В нем было что-то такое особенное, чего нет в других. Такого человека можно бы и полюбить, если бы не эта проклятая девичья... Какой-то предательский голос нашептывал ей: «Ты будешь царицей в этом дворце... жизнь польется сплошным праздником... а там, в столице, ты сама будешь наслаждаться игрой лучших артистов...» Собственная бедная обстановка нача-

ла казаться еще беднее, а жизнь игрушкой. Конечно, пока она молода и красива, все будет хорошо, но ведь красота так быстро проходит, а там, впереди — тяжелое будущее состарившейся и пережившей себя примадонны. Антонида Васильевна часто плакала, оставаясь одна, и с Крапивинным была холоднее прежнего.

А кругом нее составилась целый заговор, участниками которого были Иван Гордеевич, Яков Иванович и Улитушка. Они частенько собирались втроем и долго судили и рядили про барские дела.

— Гордячка она, — повторял Иван Гордеевич, приглаживая свою лысину. — Счастье лезет в рот, а она отвергает. По-моему, женское естество везде одинаково, и только одна барская прихоть, что подай вот эту, а остальных не надо. И нужно этим пользоваться... Другая бы даже весьма благодарна была... А уж как Виссарион Платоныч тоскуют-с. Можно сказать, спят и видят Антониду Васильевну.

— А сколько он даст за нее? — спрашивал Яков Иванович.

— Ничего, говорит, не пожалею... Пятьде-

сят тысяч сейчас наличными, а что касемо подарков и благодарности — не в счет.

Яков Иванович и премудрый Соломон искренне жалели, зачем они не родились такою красавицей, как Антонида Васильевна.

— Все равно так, даром пропадет, — резонировал Соломон, — и после сама будет жалеть-с. Только будет поздно-с.

— Конечно, будет каяться, — поддакивал Яков Иванович. — Ну, выйдет она за Крапивина... ну, и вытягивайся из всех жил на сцене, пока в силах, а дальше-то что?

— Эх, молодо-зелено, — качал головой Соломон.

Привлеченная к делу. Улитушка сочувствовала этим взглядам и вносила еще свою рабью покорность барской воле. Она взяла на себя трудную роль переговорить с Антонидой Васильевной окончательно, потому что сезон подходил к концу и такого другого случая не дождешься. Старуха долго ходила около своей «шпитонки», прежде чем решилась выговорить все, что лежало на ее старой душе.

— Тонюшка, а ты напрасно Виссариона-то Платоныча обегаешь... — начала она одна-

жды вечером, когда девушка сидела перед зеркалом в папильотках и выравнивала волосы. — Вон он что говорит-то: ничего, слышь, не пожалею... Только бери. Право... Иван Гордеич говорит, что пятьдесят тысяч отдаст, а подарки особо. На волю бы выкупилась и меня, старуху, выкупила, и стали бы жить да поживать... Девичья-то память до порога.

Прислонившись к спинке стула, Антонида Васильевна смотрела на няньку остановившимися от изумления глазами. Не во сне ли все это происходит?.. А расходившаяся старуха не унималась и продолжала свое:

— Тоже вот и Яков Иваныч, — ему-то какая корысть? — а он в один голос с Иваном-то Гордеичем... Добра тебе все желают, касаточка. Раз-то согрешишь, так и бог простит... Не ты первая, а с актрисами это даже и даром бывает. Подвернется какой худой человек — девушки как не бывало... А Виссарион Платоныч не обидит: в золоте будешь ходить.

— Так пятьдесят тысяч, няня?

— Пятьдесят, касаточка.

— Отлично... Я сама подумаю.

— Подумай, касаточка, господь с тобой...

Этакого счастья в другой-то раз и не дождешься, а женская наша красота до времени.

Антонида Васильевна больше не плакала. Она целую ночь не сомкнула глаз и все думала... Припомнилось ей, как ее насильно взяли от семьи там, в России, и отдали в театральную школу; как она постепенно забывала своих родных, простых дворовых, и как теперь она была для них хуже, чем чужая. Впереди роскошь, богатое безделье... Ее и торгуют, как лошадь. От денег у всех закружилась голова, начиная с несчастной Улитушки. Стоит только решиться, и широкая дорога открыта. Утром Антонида Васильевна передала няньке, что сама желает переговорить с Додоновым, и сама назначила ему час, когда он может прийти к ней, не рискуя встретиться к Крапивинным.

— Давно бы так-то, касаточка... — обрадовалась старуха.

Заговорщики торжествовали. Яков Иванович сам полетел с радостной вестью в Краснослободский завод, и в назначенный час Додонов входил в комнату Антонида Васильевны.

— Вы меня желали видеть, Антонида Васи-

льевна?

— Да... Я желала бы слышать от вас лично все то, что мне передавали. Вы сами назначили цифру в пятьдесят тысяч?

— Послушайте, это уже известно вам, и не все ли равно, кто назначал?...

— Значит, верно?

— Да.

— И будут подарки?

— Антонида Васильевна, что за тон?

Она посмотрела на него такими печальными глазами и замолчала.

— Девичья будет уничтожена немедленно... — заговорил Додонов, поощренный этим молчанием. — Я понимаю, что это грубо назначить цифру, но ведь это только гарантия.

— Благодарю вас, что вы так оценили мой позор... и знайте, что я, я любила вас... а теперь прощайте... навсегда. Вы меня убили...

Она не выдержала и громко зарыдала. Додонов хотел по дойти к ней, но она отстранила его движением руки.

— Если так, то вот мое последнее слово: выходите за меня замуж, — предлагал Додонов.

— Замуж?.. Чтобы вы бросили меня через неделю?.. Нет, одно мгновение я думала несколько иначе о вас, и если бы отдалась вам, то не за деньги и не за честь носить вашу фамилию... Прощайте, прощайте!..

— Опомнитесь, Антонида Васильевна...

— Довольно... будет...

Видимо, ей хотелось сказать ему что-то еще на прощание, но она только махнула рукой и убежала за ширму. Додонов постоял среди комнаты несколько минут и, стиснув зубы, проговорил:

— Тогда я вас куплю, Антонида Васильевна?

— Покупайте, как покупаете собак.

Додонов круто повернулся и торопливо вышел. У него голова шла кругом. О, он отомстит за это оскорбление!.. Какая-нибудь жалкая провинциальная актриса и так обращается с ним, Виссарионом Додоновым?.. Нет, это уж слишком...

Вечером этого же дня в театре Яков Иванович отозвал Антониду Васильевну за кулисы и, всплеснув руками, как-то простонал:

— Антонида Васильевна, что вы наделали... что вы наделали?!

— Да вам-то какая забота, Яков Иваныч?

— Бескорыстно-с, сударыня... Добра вам желал, единственно по этой причине. После меня, может, и добрым словом помянете...

— Оставьте меня!.. Вы все, кажется, помешались... А если вы еще осмелитесь приставать ко мне со своими сожалениями, я должна буду обратиться к Павлу Ефимычу...

— Нет-с, это пустое-с... Антонида Васильевна, в самом деле подумайте хорошенько! Если бы я был на вашем месте... да я...

— Вот и замените меня, а я буду вам очень благодарна.

— Погордились, сударыня...

— Вон!

Яков Иванович долго стоял на одном месте и все качал головой. Он даже забыл, что около театра его ожидает премудрый Соломон, приехавший из Краснослободского завода за окончательным ответом.

— Ну, что? — спрашивал он, когда показался, наконец, Яков Иванович.

— Ничего... прогнала...

Мудрецы только развели руками. Что же, своего ума к чужой коже не пришьешь...

Вся труппа уже знала о случившемся, и шушукались по всем углам. Актрисы выражали свое одобрение, актеры качали головами. Ничего не знал один Крапивин, который был занят с декоратором Гаврюшей и даже сам что-то красил и мазал, одевшись во вретнице. У Гаврюши давно чесался язык, чтобы рассказать все патрону, но он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, что только кряхтел и вздыхал.

— Что у тебя, живот болит? — спросил, наконец, его Крапивин.

— Никак нет-с, Павел Ефимыч...

Гаврюша, наконец, не выдержал и рассказал все, что происходило сегодня в театральной квартире. Крапивин слушал его и понимал всего одно слово: Додонов... Додонов... Додонов. А где Антонида Васильевна?.. Потом он опомнился и закричал, как раненый зверь:

— Да ты все врешь, Гаврюшка?! Все это ваши закулисные сплетни и дрязги... Никогда и ничего не смей мне говорить об Антониде Васильевне!

— Как вам будет угодно.

# Х

Дворец в Краснослободском заводе зловеще смолк. Барин затворился в кабинете, и никто не смел дохнуть. Всем собакам были надеты намордники, чтобы не лаяли. Музыка больше не играла, охота, кучера, прислуга — все попрятались по углам. Ночью только один огонек светился во всем дворце: это был освещен кабинет барина. Девичья на ночь заперлась на железные ставни, так что огня там никогда не было вид но с улицы. Вообще получалось настоящее мертвое царство.

Бодрствовал один Иван Гордеевич, который обходил все углы и закоулки Неслышными шагами, как настоящий кот. Утром и вечером он исправно являлся в кабинет с докладом и вытягивался у дверей, как лист перед травой. Додонов молча выслушивал его и отсылал назад движением руки.

— Ты виноват кругом, — проговорил, наконец, Додонов на одном из таких приемов. — Не умел повести дела...

— Простите, Виссарион Платоныч, — каялся премудрый Соломон, падая на колени. —

Старался, хлопотал...

— Дурак!

В следующий раз он, не глядя на верного слугу, отдал короткий приказ:

— Поезжай туда, в поместье... и купи мне всех актрис. Сколько будет стоить — все равно... Я покажу им, как смеяться над Додоновым...

Ровно через час Иван Гордеевич выезжал уже в легкой зимней кибитке, направляясь куда-то в Малороссию. По маршруту он должен был ехать день и ночь.

Первое известие об этой экспедиции Крапивину принес Яков Иванович, знавший решительно все, что делалось в городе и ближайших окрестностях.

— Это похуже будет симбирских помещиков, Павел Ефимыч, — заключил он свою осторожную речь. — Всю труппу, говорит, куплю и свой домашний театр открою... Оркестр есть, помещение есть, недостает только актрис.

У Крапивина буквально опустились руки от такой напасти. Он упустил удобное время для выкупа, а теперь — где же ему конкурировать

вать с Додоновым, который бросит и сто тысяч, чтобы только добиться своего? Даже к генералу идти незачем. Старик, конечно, добр, но что он поделает с таким самодуром? Спокойною и уверенною оставалась одна Антонида Васильевна. Она теперь утешала Крапивина.

— Есть же на свете правда? — повторяла девушка. — Страшен сон, да милостив бог...

Крапивин слушал эти несбыточные надежды и на время успокаивался. В самом деле, кто знает, что ждет всех впереди? Положим, это была надежда утопающего, но все-таки нужно же хоть что-нибудь, чтобы тянуть день за днем. Подробностей истории Антониды Васильевны с Додоновым он не пытался узнавать из чувства простой деликатности. Он желал верить ей, хотя и понимал, что прямого ответа на свои чувства сейчас в ней не встретит. Она не любила его, а только уважала.

В Загорье только и было толков, что о Додонове. Стоустая молва разукрасилась такими подробностями, что позавидовала бы сама Шехеразада. Рассказывали, что Крапивин

бросился на Додонова с ножом, а Додонов хотел затравить его медведями; что примадона хотела отравиться, но ее спас Яков Иванович; что сам генерал замешан в этой истории, потому что явился счастливым соперником Додонова, и т. д. Передавали о какой-то крупной размолвке Додонова с генералом, что и подтвердилось очень скоро. Рано утром, во вторник на масленице, через Загорье двигался опять целый ряд обозов. Везли медведей в железных клетках, музыкантов, целый обоз собак, точно тронулась какая-то неприятельская армия. Медвежьи клетки были обшиты войлоком, собак везли в громадных фурах, музыкантов в крытых возках. Девичья была отправлена раньше, и ее провезли ночью. Одной прислуги, считая охоту, музыкантов и девичью, было отправлено больше трехсот человек, так что обоз растянулся на тысячу верст, на станциях не хватало лошадей, и отдельным транспортам приходилось ждать очереди. Все это двигалось опять мимо театральной квартиры, но уже не привлекало внимания.

— Это какой-то сумасшедший, — удивлял-

ся Крапивин. — Неужели нельзя было дождаться весны?

Оказалось, что последнее было невозможно. У Додонова произошло действительно недоразумение с генералом, но не из-за примадонны, а за карточным столом. Собственно говоря, это были такие пустяки, о которых не стоило говорить, но Додонов обиделся и решил сейчас же отправиться со всею ордой в Петербург. Стоило ли дожидаться весны, когда вся разница по транспортированию заключалась в нескольких десятках тысяч рублей? Но эта размолвка Додонова с генералом спасла труппу Крапивина. Очевидно, здесь деятельно работала Пелагея Силантьевна, умевшая настроить Додонова. У ней был прямой расчет избавиться от новой соперницы в лице Антонида Васильевны. Додонов жил вспышками, и только нужно было уметь воспользоваться его настроением.

У Пелагеи Силантьевны был свой план, который скоро и объяснился.

Труппа Крапивина играла на масленице каждый день. Работы всем было по горло, особенно самому Крапивину. Сезон кончался, и

нужно было взять последнюю дань с публики, мало-помалу привыкшей к театру. У праздничной публики особенный фурор производила Фимушка, танцевавшая свои номера с большим шиком. На время эта крепостная балерина отодвинула на второй план даже Антониду Васильевну с ее драматическими ролями, оперными ариями и романсами. Сам Крапивин ухаживал за ней, как за главной доходною статьей.

— Попала в честь и наша Фимушка, — удивлялась Улитушка, качая своею дряхлой головой. — За простоту ей господь счастье посылает.

Генерал по-прежнему сидел в своем кресле первого ряда и громко одобрял артистов; абонированное на весь сезон кресло Додонова оставалось пустым. Но в четверг на масленице вся труппа была опять встревожена; Додонов появился в театре и сидел на своем обычном месте, рядом с генералом. К общему удивлению, враги беседовали между собой в антрактах самым мирным образом. Крапивин сильно взволновался, почувствовав какую-то беду.

— Берегитесь и будьте осторожны, — предупредил он Антониду Васильевну, — от этого сумасброда нужно всего ожидать...

На всякий случай Крапивин осмотрел все входы и выходы в театре и не спускал Антониду Васильевну с глаз. Спектаклю, казалось, не было конца, а тут еще генерал заставлял Якова Ивановича повторять свои любимые номера. Крапивин то и дело вынимал часы, считая каждую минуту. Досталось режиссеру Гаврюше, который едва ворочался, потом суфлеру и по порядку всем другим театральным маленьким людям. В пылу усердия поскорее смотать ненавистный вечер Крапивин делался несправедливым и не замечал сам, что никто не виноват и дело идет своим обычным ходом. Подвернувшаяся под руку Улитушка не избежала общей участи.

— Ты чего тут, старая крыса, мешаешься? — ругался Крапивин. — Ну чего бегаешь, как угорелая?

Улитушка даже оторопела в первую минуту и только потом настолько собралась с силами, чтобы обругать сбесившегося маэстро.

— погоди, вот укротят тебя... — ворчала

она, улепетывая в ближайшую уборную. — Невелик в перьях-то!..

О происках старухи Крапивин кое-что знал, но не хотел с ней связываться, а теперь у него вырвалось резкое слово общим счетом. В сущности старушонка была порядочная дрянь и вечно заводила в труппе какие-нибудь ссоры и перекоры.

Спектакль кончился, и оставался один водевиль. Актрис попросил Крапивин дождаться конца, чтобы всем идти вместе. В антракте перед водевилем танцевала свою качучу Фимушка. Эта ленивая и глупая толстуха, когда выходила на сцену с голубым шарфом и в голубой газовой юбочке, производила фурор, как было и теперь. Гримируясь в своей уборной, Крапивин, — он играл все роли «на затычку», — с удовольствием слышал, как благодарно ревела публика, вызывая Фимушку, как надрывался Яков Иванович со своим оркестром и как стучал костылем в такт «кадансу» сам генерал. Потом все смолкло, потому что для эффекта Фимушка должна была провалиться в люк, как это делалось в то время: фея улетала в небеса или проваливалась, —

то и другое придавало определенный конец номеру.

Когда Крапивин вышел на сцену, то с удовольствием заметил, что Додонова больше нет в театре. Оставался один генерал, расслабленно мигавший опухшими красными веками. Благодаря Крапивину водевиль свертели в полчаса, и антрепренер сам удивился, что так скоро все кончилось. Не смывая грима, он бросился в уборную к Антониде Васильевне: она была налицо, — значит, все благополучно.

— Одевайтесь, я сейчас, — весело проговорил Крапивин, убегая к себе.

Когда он вышел, труппа была в сборе, и не оказалось налицо одной Фимушки. Она провалилась в люк и больше не возвращалась. Рабочие видели, как она под сценой надевала шубку, а дальше все следы терялись. На квартире Фимушки тоже не было. Только стоявшие у театра извозчики сообщили, что к подъезду, через который входили и выходили артисты, подъезжал додоновский дорожный возок, и какая-то дама вышла и села в него. Очевидно, балерину увез Додонов... Пока шел

водевиль, он был уже далеко. Действительно, Додонов устроил это похищение и был счастлив своею легкой победой. Конечно, все было подстроено раньше, при дружном содействии Якова Ивановича, Улитушки и Пелагеи Силантьевны, а Фимушка по своей глупости была рада романическому приключению. Она, как была в своей газовой голубой юбочке и в трико, так и отправилась в неизвестный путь, отдавшись Додонову. Они вдвоем катили по московскому тракту, сломя голову, и это приводило Фимушку в восторг. Додонов закутывал ее в свою медвежью шубу, как ребенка.

За беглецами летела повозка с Пелагеей Силантьевой, не оставшейся в накладе. Додонов послал гонца воротить Ивана Гордеевича с дороги.

# XI

Роман Антонида Васильевны закончился бегством Фимушки. Через два года она вышла замуж за Крапивина, который двадцать пять лет оставался антрепренером и справедливо гордился тем, что создал первую в Сибири труппу. На его руках выросло целое поколение артистов; все это были прямые потомки бывших крепостных актрис. Конечно, недостатка в трудных и тяжелых днях не было, труппа не раз распадалась и снова складывалась, но Крапивин держался прочно, как человек вполне порядочный. Одно его огорчало, именно, что Антонида Васильевна оказалась бездетной, но и эта беда поправилась, когда эта чета приютила круглую сиротку, оставшуюся после Фимушки. Бедная танцовщица пропадала с Додоновым года два и опять вернулась к Крапивину в самом несчастном виде — постаревшая и беременная. Крапивин не помнил зла и пригрел ее. Выкупая своих артистов, он выкупил и Фимушку, которая еще раз обманула его надежды: балерина простудилась и скоро умерла.

Додонов плохо кончил: его погубило освобождение крестьян, а потом целый ряд процессов. Капельмейстер, заведовавший додоновским оркестром, отморозил пальцы, играя зимой на открытом воздухе; один из медведей оборвал цепь и загрыз двух баб, и т. д. Беда не приходит одна. Но скандальнее всего разыгралось дело с девичьей. Был поднят громкий процесс, тянувшийся годами. Оказался целый ряд страшных преступлений: ни одна хорошенькая девушка в девичьей не выживала больше года. Одна загадочная смерть следовала за другой, и умирали именно те девушки, которые нравились Додонову больше других. Молва обвиняла во всем Пелагею Силантьевну, отравлявшую своих крепостных соперниц. Насчитывали больше десяти таких жертв. Потом выплыло наружу, что в девичьей за все время ее существования не было ни одного ребенка. Являлось подозрение в том, что и это находилось в связи с загадочной смертью неизвестных красавиц. К следствию была притянута и старая Галактионова и сам премудрый Соломон. Вообще дело разыгралось настолько широко, что нужны

были сотни тысяч рублей, чтобы замазать все и предать воле божьей, как и вышло в конце концов, когда с Додонова нечего было взять. Он разорился окончательно, и Краснослободские заводы пошли с молотка.

Оставшись нищим, Додонов женился на Пелгее Силантьевне и конец своих дней провел у ней на хлебником. Старая метресса приберегла какие-то крохи от додоновского роскошества и на эти средства содержала мужа.

Крапивинская труппа распалась окончательно со смертью своего основателя. Было время, когда в Загорье широко развернулись-первые золотопромышленники, и у Крапивина дело шло блестящим образом. Он даже приобрел в собственность дом, где помещалась театральная квартира. Были свои лошади и вообще вся обстановка на широкую ногу. Деньги как наживались, так и проживались. По своей артистической натуре Крапивин был неспособен к благоразумному откладыванию средств про черный день. Когда закончилось крепостное горное дело и задававшие всему тон горные инженеры потеряли насиженные места, дела у труппы сразу упа-

ли. Крапивин все-таки кончил свое дело с честью, потому что смерть предупредила грозивший труппе крах. Антонида Васильевна осталась ни с чем и перебивалась кое-как, поступив на вторые роли.

Случившаяся размолвка после сорокалетней дружбы повлияла на обоих стариков. Они сидели по своим углам и горько жаловались на свою судьбу. Конечно, Яков Иванович в качестве кавалера старой школы должен был первым извиниться перед дамой, но, с другой стороны, как же он будет извиняться, когда она первая оскорбила его, указав на дверь? Каждый вечер Яков Иванович проходил мимо дома, где жила Антонида Васильевна, и все не мог решиться пойти первый на примирение. Он даже поднимался на крыльцо и брался за ручку двери, но его точно отталкивала чья-то сильная рука.

Осень сменилась зимой. Грязь покрылась белым пушистым снегом. Старые люди чувствуют себя в это время особенно нехорошо, — ведь зима напоминает смерть. Яков Иванович сильно прихворнул. Отозвались кое-какие грехи юности, застарелые ревма-

тизмы, катары, простуды. Он даже лежал в постели недели две. Зато как хорошо выздоравливать, точно родишься во второй раз! Первою мыслью, когда Яков Иванович получил возможность выходить на свежий воздух, — первая мысль, конечно, была о том, чтобы сейчас же сходить к Антониде Васильевне и примириться.

— О женщины, женщины!.. Разве можно на вас сердиться серьезному человеку? — рассуждал старик, пробираясь по знакомой дороге с большими остановками. — Все женщины немножко легкомысленны... Хе-хе!..

Ему представлялось вперед, как ей будет неловко и совестно перед ним, а он сделает такой вид, что не понимает, — не правда ли, ведь будет очень смешно? О женщины, женщины!.. Но вот и знакомый дом, и проклятая лестница, по которой так трудно подниматься, и дверь... да, та самая дверь, в которую... Якова Ивановича по шеям... Хе-хе!..

— Вам кого угодно? — окликнул старика незнакомый женский голос.

— Как кого? Антониду Васильевну...

— Их нет.

— Как нет, милая? Разве она переехала на другую квартиру?

— Да, переехала... на кладбище. Вот уже девятый день завтра...

— Девятый день?.. Странно... — бормотал Яков Иванович.

Он вышел опять на крыльцо и долго стоял, не надевая шапки. Девятый день... переехала на квартиру... Вдруг жгучая боль схватила его сердце, и Яков Иванович громко зарыдал, как ребенок. Боже мой, он остался теперь совершенно один, один из всей крапивинской труппы.

# Примечания

# 1

*Краген* — большой меховой воротник, который можно накинуть на голову.

[^^^]

## 2

*Курней* — здесь — кисть на шапке.

[^^^]

# 3

*Выжлятник* — охотник, наблюдающий за гончими (от *выжлец* — кобель гончей породы).

[^^^]

## 4

*Доезжачий* — старший псарь, занимающийся обучением борзых собак и распоряжающийся ими на охоте.

[^^^]

*...опасаясь... исправленных попов с Иргиза...* — На реке Большой Иргиз (приток Волги) был расположен один из центров старообрядчества; здесь беглые попы отказывались от господствующей церкви, т. е. «получали исправу».

[^^^]

# 6

*Аматер* (фр. amateur) — любитель.

[^^^]

Свиданиям наедине (франц.).

[^^^]